



Генри Райдер Хаггард

**Дева Солнца**

**Хаггард Г.**

Дева Солнца / Г. Хаггард —

# Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
КНИГА ПЕРВАЯ	6
ГЛАВА I. МЕЧ И КОЛЬЦО	15
ГЛАВА II. ЛЕДИ БЛАНШ	22
ГЛАВА III. ХЬЮБЕРТ ПРИЕЗЖАЕТ В ЛОНДОН	28
ГЛАВА IV. КАРИ	37
Конец ознакомительного фрагмента.	42

## Генри Райдер Хаггард Дева Солнца

Дитчингем, 24 окт. 1921г.

Дорогой Литл!

Лет тридцать пять тому назад мы имели обыкновение обсуждать многие вещи, и среди них, помнится, историю и романтические легенды исчезнувших империй Центральной Америки.

В память об этих давно минувших днях примите рассказ, который касается одной из них – Империи удивительных Инка Перу; а также легенды о том, что еще задолго до того, как туда явились испанские завоеватели со своей миссией грабежа и разрушения, там, в той неоткрытой стране, жил и умер Белый Бог, поднявшийся из моря.

*Всегда искренне Ваш,*

*Г. Райдер Хаггард*

Джемсу Стэнли Литлу, эсквайру.

## ВВЕДЕНИЕ

Есть люди, находящие глубокий интерес и даже утешение среди тревог и волнений жизни в том, чтобы собирать реликвии прошлого, унесенные волнами или давно затонувшие сокровища, которые океан времени выбросил на наш современный берег.

Из этих людей не выходят крупные коллекционеры. Последние, располагая большими средствами, приобретают любую редкостную вещь, попадающую на рынок, и добавляют ее к своим коллекциям, которые в свое время – быть может, тотчас после смерти их владельцев – снова попадут на рынок и перейдут в руки других знатоков. Не выходят из их среды и торговцы, которые покупают для того, чтобы вновь продать и таким образом умножить свои богатства. Нет среди них и музейных агентов, скупающих во многих странах на благо нации бесценные предметы; эти предметы скапливаются в определенных общественных зданиях, которые, возможно (одна мысль об этом приводит в содрогание), будут когда-нибудь разграблены или преданы огню неприятелем или разъяренной жадной чернью.

Собиратели, которых имеет в виду издатель настоящей книги и один из которых фактически передал ему историю, опубликованную на этих страницах, принадлежат к совершенно другой категории: это люди с малыми средствами, они покупают старинные вещи – чаще всего на захолустных распродажах или у частных лиц, – потому что эти вещи им нравятся, и иногда продают их, потому что вынуждены к этому обстоятельствами. Нередко эти старинные предметы притягивают не своей возможной ценностью и даже не красотой, ибо они порой начисто лишены привлекательности даже для опытного глаза, а скорее своими ассоциациями. Такие люди любят раздумывать и размышлять о давно умерших владельцах этих реликвий – о тех, кто ел суп этой потускневшей елизаветинской ложкой, кто сидел за этим шатким дубовым столом, обнаруженным в кухне или в сарае, или на этом сломанном древнем стуле. Они любят думать о детях, чьи ловкие, усталые ручонки вышивали этот выцветший узор и чьи блестящие глаза болели от его бесчисленных стежков.

Кем, например, была эта Мэй Шор (с ласковым прозвищем «Фея», вышитым внизу), которая закончила вон ту изошренную вышивку в день, когда ей исполнилось десять лет, – 1 мая (откуда, несомненно, и происходит ее имя) 1702 года, и на каком далеком берегу отмечает она теперь свои дни рождения? Никто никогда не узнает. Она исчезла в том великом море тайн, откуда она явилась, и там она живет и существует, забытая на земле, или спит, и спит, и спит. Умерла ли она молодой или старой, замужней или одинокой? Заставляла ли она своих детей вышивать другие узоры, или она была бездетной? Была ли она счастлива или несчастна, простовата или красива? Была ли она грешницей или святой? И об этом тоже никто никогда не узнает. Она родилась 1 мая 1702 года и, конечно, в какой-то день с нигде не отмеченной датой умерла. И в этом, насколько доступно человеческому знанию, заключена вся ее история, то малое – или то многое, – что останется и от большинства из нас, живущих сегодня, когда наша земля успела совершить еще двести восемнадцать оборотов вокруг солнца.

Но лучшим примером упомянутого собирателя редкостей может служить владелец той рукописи, содержание которой в несколько модернизированном виде изложено на этих страницах. С тех пор, как он умер, прошло уже несколько лет; и поскольку он не оставил после себя никакой родни, по его завещанию, те предметы его пестрой коллекции, которые представляли общий интерес, поступили в местный музей, а остальные вместе со всей его собственностью были проданы для поддержания одного мистического братства – ибо этот славный старик был в некотором роде спиритуалистом. Поэтому нет ничего предосудительного в том, если мы приведем здесь его плебейское имя, – Потс. Мистер Потс имел небольшую мануфактурную лавку в ничем не примечательном и редко посещаемом провинциальном городке на востоке Англии, и эту лавку он содержал с помощью почти такого же старика и чудака, каким был он сам. Извле-

кал ли он из нее какой-либо доход или жил на какие-то частные средства, осталось неизвестным и не имеет значения. Во всяком случае, когда ему представлялась возможность купить что-либо, имевшее антикварный интерес или ценность, у него обычно находились деньги, хотя временами ему и приходилось продавать для этого какую-нибудь вещь. Фактически это была единственная возможность купить у мистера Потса что-нибудь, кроме обычной мануфактуры.

И вот я, издатель, и тоже любитель старинных вещей – отчего мистер Потс в душе мне симпатизировал, – знал об этом и договорился с его чудаковатым помощником о том, чтобы тот сообщал мне о каждом денежном кризисе, возникавшем всякий раз, когда местный банк обращал внимание мистера Потса на состояние его счета. Таким образом, в один прекрасный день я получил следующее письмо:

*«Сэр, хозяин совсем с ума сошел насчет какой-то треснувшей фарфоровой посуды, самой уродливой, какую я когда-либо видел, хотя не мне судить. Так что если вы хотите купить те старые напольные часы или что-нибудь еще из его хлама, то у вас, думаю, есть все шансы. Во всяком случае, держите это в тайне согласно уговору.*

*Покорнейшие ваши – Том».*

(Он всегда подписывался «Том», вероятно, для мистификации, хотя, как мне помнится, его настоящее имя было Беттерни).

Результатом этого послания была долгая и неприятная поездка на велосипеде в дождливый осенний день и визит, в лавку мистера Потса. Том, он же Беттерни, который в этот момент пытался продать какое-то таинственное нижнее белье толстой старухе, заметил меня и подмигнул.

В полутемном углу лавки на высоком стуле восседал сам мистер Потс, сморщенный маленький старичок с сутулой спиной, лысой головой и крючковатым носом, на котором сидели огромные очки в роговой оправе, подчеркивая его общее сходство с совой, сидящей на краю своего дупла. Он был всецело занят ничегонеделанием и созерцанием пустоты, что было, по словам Тома, его привычкой, когда он общался с тем, что Том называл его «треклятыми духами».

– Покупатель! – сказал Том резким голосом. – Прощу прощения, что беспокою вас во время молитвы, хозяин, но, имея только одну пару рук, я не могу обслужить толпу. – Он имел в виду старуху с нижним бельем и меня.

Мистер Потс соскользнул со стула и приготовился к действию. Однако, увидев, кто этот покупатель, он весь ошетинился – иначе это не назовешь. Надо признаться, что, хотя нас связывала внутренняя духовная симпатия, внешне между нами была открытая враждебность. Дважды я обошел мистера Потса на местном аукционе, купив вещи, которые страстно хотел приобрести сам мистер Потс. Более того, как всякий хороший коллекционер, он считал своим долгом ненавидеть меня как другого коллекционера. И, наконец, несколько раз я предлагал ему более низкую цену за вещи, которые, по его мнению, стоили намного дороже. Правда, я давно уже отказался торговаться с ним по той простой причине, что мистер Потс никогда бы не взял меньше назначенной им цены. Он следовал примеру продавца сивиллиных книг в Древнем Риме. Конечно, он не уничтожал свой товар, как делал тот, и не требовал за последний оставшийся экземпляр цену всех вместе взятых книг, но он неизменно повышал цену вещи на десять процентов и не уступал ни одного фартинга.

– А что вам угодно, сэр? – спросил он ворчливо. – Жилетки, трико, воротнички или носки?

– О, я думаю – носки, – ответил я первое, что в голову пришло, поскольку этот товар был самым легким на вес.

В ответ на это мистер Потс извлек какие-то особенно противные и бесформенные шерстяные изделия и почти швырнул их мне, говоря, что это все, что имеется в лавке. Надо сказать, что я терпеть не могу шерстяные носки и никогда их не ношу. Все же я купил их, сочув-

ственно подумав о моем старом садовнике, чьи ноги будут скоро чесаться от них, и пока их упаковывали, я спросил вкрадчивым голосом:

– Что-нибудь новенькое наверху, мистер Потс?

– Нет, сэр, – отрезал он, – по крайней мере, не много; но даже если б что и было, какой смысл показывать вам после той истории с часами?

– Вы, кажется, просили за них 15 фунтов, мистер Потс? – спросил я.

– Нет, сэр, семнадцать, а теперь они на десять процентов дороже. Можете сами сосчитать, сколько это будет.

– Ладно, дайте взглянуть на них еще раз, мистер Потс, – сказал я смиренно, после чего он, ворчливо приказав Тому следить за лавкой, повел меня наверх.

Дом, в котором жил мистер Потс, некогда отличался большими претензиями и был очень, очень стар, пожалуй, еще елизаветинских времен, хотя его фасад и украшала отвратительная штукатурная лепка, добавленная из желания угодить современным вкусам. Дубовая лестница, еще крепкая, но узкая, вела на второй этаж и на чердак, где находились многочисленные комнатухи; часть их была отделана панелями и имела дубовые балки, теперь побеленные, как и панели, – по крайней мере, их когда-то побелили, возможно, в предыдущем поколении.

Эти комнатухи были буквально забиты всевозможными предметами старинной мебели, большей частью ветхой, хотя за многие из этих вещей торговцы дали бы хорошую цену. Но на торговцах мистер Потс поставил крест; ни один из них никогда не ступал на дубовую лестницу. Дом был заполнен этой мебелью до самого чердака, а также и другими предметами, такими, как книги, фарфор и бог весть что еще, и все это грудями лежало на полу. Где мистер Потс спал, было тайной: может быть, под прилавком у себя в лавке, а может быть, он по ночам устраивался на источенной жучком старинной кровати времен короля Иакова I, стоявшей на чердаке; во всяком случае, я заметил что-то вроде узкого прохода, ведущего к ней между рядами безногих стульев, а также какие-то грязные одеяла, выглядывавшие из-под изъеденного молью полога. Вблизи этой кровати, прислоненные к стене в положении, напоминавшем позу пьяного, стояли часы, которые мне так хотелось купить. Это был один из первых экземпляров «регуляторных» часов с деревянным маятником, и по ним сам мастер, их создавший, проверял точность всех других часов; они были заключены в футляр из чистого, великолепного красного дерева, выполненный в лучшем стиле эпохи. Действительно, это была вещь столь совершенной красоты, что я влюбился в них с первого взгляда, и хотя возникло препятствие в деле окончательного решения, или, другими словами, в вопросе о цене, сейчас я почувствовал, что отныне эти часы и я уже не сможем разлучиться.

Поэтому я согласился заплатить старому Потсу те двадцать фунтов, или точнее – восемнадцать фунтов и четырнадцать шиллингов, которые он потребовал по принципу десятипроцентной надбавки к первоначальной цене; в душе я был рад, что он не запросил больше, и собрался уходить. Однако едва я повернулся, как мой взгляд упал на большой ящик или сундук из почти несокрушимого дерева – кипариса, из которого, говорят, были сделаны врата Св. Петра в Риме, простоявшие восемьсот лет и, насколько я знаю, находящиеся там и поныне в том же состоянии, в каком они были в тот день, когда их навесили,

– Свадебный сундук, – сказал Потс, отвечая на мой немой вопрос.

– Итальянской работы, около 1600 года? – предположил я.

– Может быть, и так, а возможно, сделан в Голландии итальянскими мастерами; но только еще раньше, ибо на крышке кто-то выжег раскаленным железом дату – 1597 год. Но он не продается, нет, нет; уж слишком он для этого хорош. Просто загляните внутрь – вон там старинный ключ привязан к замку. Ни разу в жизни не встречал другой такой работы. Выжигание! Боги и богини и невесть что еще. А в середине – Венера, сидит в гирлянде из цветов в чем мать родила и держит в руках два сердца: а это и означает, что сундук свадебный. Когда-то чья-то молодая жена держала в нем все свое приданое – простыни, белье, платья и всякую

всячину. Хотел бы я знать, где она сейчас? Надеюсь, не там, где моль не ест одежды. Купил его у одной распавшейся старинной семьи – они бежали в Норфолк, когда был восстановлен Нантский эдикт: гугеноты, конечно. Давно это было, много лет назад. Целый век в него не заглядывал, но думаю, там теперь ничего нет, кроме старого хлама.

Все это он бормотал, пока отвязывал и прилаживал к замку старый ключ. От долгого бездействия и отсутствия смазки пружинный замок не хотел поворачиваться, но наконец поддался; мы подняли крышку – и нашим взорам открылась вся красота и великолепие выжженного на внутренней стороне крышки и на стенках рисунка. Это были действительно красота и великолепие; я никогда не видел еще подобного мастерства.

– Плохо видно, – пробормотал Потс. – Окна давно не мыты – с тех пор, как умерла жена, а тому уже двадцать лет. Конечно, мне ее недостает, но зато теперь, слава Богу, никаких весенних уборок. Сколько вещей было поломано во время этих уборок! Да и пропало тоже! Именно после одной такой уборки я и сказал жене, что теперь мне понятно, почему магометане считают, что у женщин нет души. Когда она поняла, что я хочу сказать, она устроила мне скандал и швырнула в меня дрезденской статуэткой. К счастью, я успел ее поймать, я ведь в молодости играл в крикет, Ну, а теперь ее нет в живых; и, конечно, на небесах стало намного чище, чем раньше, – то есть, разумеется, если там терпят ее возню, в чем я сильно сомневаюсь. Посмотрите на эту Венеру, разве не красавица? Могла бы быть созданием Тициана, когда б у него кончились краски и ему пришлось бы взяться за раскаленное железо, чтобы воплощать свои замыслы. Что, плохо видно? Погодите-ка, я принесу фонарь. Я не держу здесь свечей – слишком ценные здесь вещи: такие не купишь ни за какие деньги. Из-за этих свечей у нас с женой тоже был скандал, а может, из-за парафиновой лампы. Вот садитесь на тот старый стул для молитвы и смотрите.

Он стал медленно спускаться по лестнице, оставив меня в раздумье. Что за человек была миссис Потс, о которой я сейчас впервые услышал? Неприятная женщина, решил я, ибо каковы бы ни были разногласия между мужчинами, в отношении «весенних уборок» их мнение едино. Несомненно, без нее Потсу только лучше. Зачем ему жена, – этому старому, высохшему художнику?

Выбросив миссис Потс из головы, где, сказать по правде, для этого призрачного, гипотетического существа не было места, я принялся рассматривать сундучок. О, это было просто чудо! В два счета часы были разжалованы, и сундучок стал султаншей моего сераля красивых вещей. Часы были легким увлечением, любовью на час. А тут передо мной вечная королева, – если, конечно, не существует еще более прекрасный сундучок и мне не доведется найти его. А пока что придется заплатить любую сумму, какую запросит этот старый работороговец Потс, даже если она превысит мои тощие сбережения в банке. Ведь любой сераль – дорогостоящее предприятие, роскошь, доступная настоящим богачам. Правда, если речь идет о древностях, их можно потом продать, чего нельзя сказать о человеческих ценностях; ибо кто же захочет купить толпу древних, старомодных старух?

В сундучке было полно вещей – какие-то остатки гобелена, старые платья, бывшие в моде при королеве Анне и, без сомнения, сложенные сюда для сохранности, ибо моль не любит кипарисового дерева. Было здесь также несколько книг и какой-то таинственный сверток в весьма любопытной шали с вытканными в ней яркими цветными полосками. Этот сверток возбуждал во мне желание заглянуть внутрь, что я и сделал, раздвинув бахрому шали. Насколько я мог видеть, внутри было еще одно платье яркого цвета и толстая пачка пергаментных листов весьма плохого качества, исписанных поблекшим от времени старинным готическим шрифтом и подгнивших с одного края, вероятно, от сырости. Должно быть, небрежный писец пользовался жидкими чернилами, потому что буквы выщвели и побледнели.

В свертке из шали были и другие вещи – например, шкатулка из какого-то неизвестного мне красного дерева, но я не успел ничего рассмотреть толком, так как на лестнице послы-

шались шаги старого Потса, и я счел за лучшее положить сверток на место. Он явился, неся фонарь, и при свете его мы подробнее рассмотрели сундучок и украшавшие его фигуры.

– Очень мило, – сказал я, – очень мило, хотя и порядком потрепалось.

– Еще бы, сэр, – ответил он саркастическим тоном. – А вам бы хотелось, чтобы он был чистым да новеньким после четырехсот-то лет службы? Что ж, могу указать, где найти такой, что пришелся бы вам по вкусу. Пять лет назад я сам сделал эскиз для одного парня, которому очень хотелось научиться мастерить древности. Теперь он за решеткой, а его «древности» продаются по дешевке. Я помог засадить его туда, чтобы убрать его подальше, как опасного для общества.

– И сколько стоит этот сундучок? – спросил я как бы просто так, из чистого любопытства.

– Разве я не сказал, что он не продается? Вот подождите, пока я умру, тогда и приходите и покупайте его с молотка. Да нет, и тогда не купите: у него другое назначение.

Я не ответил, продолжая рассматривать сундучок. Между тем Потс опустился на молитвенный стул и, казалось, полностью отключился от действительности.

– Ну что ж, – сказал я наконец, чувствуя, что оставаться дольше уже неприлично. – Если вы не хотите его продавать, то нечего мне и смотреть. Несомненно, вы хотите придержать его для человека более богатого, и, конечно, вы правы. Пожалуйста, мистер Потс, распорядитесь, чтобы мне доставили часы, а я вышлю вам чек. А теперь мне пора. Мне ведь ехать десять миль, а через час уже стемнеет.

– Стойте, – произнес Потс глухим голосом. – Что значит езда в темноте по сравнению с таким делом, даже если у вас нет фонаря? Стойте и не двигайтесь. Я слушаю.

Я остановился и начал было набивать трубку.

– Уберите трубку, – сказал Потс, как бы очнувшись, – где трубка, там и спичка. Никаких спичек!

Я повиновался, и он снова ушел в себя; и постепенно – то ли потому, что я оказался между таинственным сундучком и изъеденной жучком кроватью времен Иакова I, то ли под впечатлением старого Потса, восседавшего на молитвенном стуле, – у меня возникло такое чувство, будто меня опутывают какие-то гипнотические чары. Наконец Потс поднялся и сказал тем же глухим голосом:

– Молодой человек, можете забирать этот сундучок. Его цена – пятьдесят фунтов. Только, ради Бога, не предлагайте мне сорок, иначе вы и до порога не дойдете, как будут все сто.

– Со всем содержимым? – спросил я как бы между прочим.

– Да, со всем, что в нем есть. Именно это и велено вам передать.

– Послушайте, Потс, – сказал я с раздражением, – что вы, черт возьми, хотите сказать? В этой комнате только мы с вами, так что никто не мог вам ничего велеть, разве что старый Том, который остался внизу.

– Том? – произнес он с непередаваемым сарказмом. – Том! Уж не имеете ли вы в виду огородное чучело, что отпугивает птиц от гороха? По крайней мере, у него в голове больше, чем у Тома. По-вашему, здесь никого нет? О, как же некоторые люди глупы! Да их здесь полно!

– Кого «их»?

– Кого? Ну, конечно, призраков, как вы их называете в своем невежестве. Духи умерших – вот как я их называю. Да еще какие прекрасные – некоторые из них. Взгляните вон на того, – и он поднял фонарь и показал на груды столбиков от старинной кровати в стиле Чиппендейл.

– Всего доброго, Потс, – сказал я поспешно.

– Да стойте же, – повторил Потс. – Вы мне пока еще не верите, но поживите с мое, тогда и вспомните мои слова и поверите сильнее, чем я, и увидите яснее, чем я, потому что они у вас в душе – да, семена у вас в душе, хотя пока еще их и душат мирская суэта, плоть и дьявол. Подождите, пока ваши грехи не ввергнут вас в беду; пока пламя несчастья не опалит и не

уничтожит вашу плоть; подождите, пока вы не возжадете Света, и не обрящете Свет, и не пребудете в Свете, – и вот тогда вы поверите, тогда вы увидите.

Все это он произнес очень торжественно; и, право же, стоя в этой полутемной комнате в окружении того, что осталось от вещей, которые когда-то были дороги людям, уже давно умершим, размахивая фонарем и пристально глядя перед собой (на что он смотрел?) – старый Потс произвел на меня глубокое впечатление. В его искривленной фигуре и уродливом лице появилось нечто одухотворенное; он выглядел человеком, который «обрел Свет и пребывает в Свете».

– Вы мне еще не верите, – продолжал он, – но я передам вам то, что сказала мне некая женщина. Очень странная женщина, никогда такой не видел: чужестранка, и смуглая, в странной, богатой одежде и с чем-то таким на голове. Вон, вон она – вон там, – и он указал сквозь пыльное оконное стекло на взошедший в небе серп молодой луны. – Прекрасная женщина, – продолжал он, – и – о, небо! Какие глаза – никогда в жизни не видел таких глаз. Большие и нежные, как глаза лани – там, в парке. И гордая она, как правительница, и леди – хотя и чужестранка. Вот уж никогда раньше не влюблялся, но сейчас у меня такое чувство, будто я влюблен, да и вы, молодой человек, влюбились бы, если бы могли ее видеть; и в то время кто-нибудь, наверно, был в нее влюблен;

– Что же она вам сказала? – спросил я, ибо он пробудил во мне живейший интерес. Да и кто бы не заинтересовался, слушая, как старик Потс вдруг взялся описывать красивых женщин.

– Пересказать это довольно трудно, ибо она говорила на каком-то чужом языке, так что мне приходилось ее слова как бы переводить снова в уме. Но вот вам самая суть: вы должны взять этот сундучок со всем, что в нем есть; Там, сказала она, есть записки – или часть рукописи, потому что кое-что пропало, сгнило от сырости. Вы, или кто другой по вашему выбору, должны прочитать эту рукопись и опубликовать ее, чтобы весь мир мог узнать, что в ней написано. Так, сказала она, хочет Хьюберт. Я уверен, что правильно запомнил, имя – Хьюберт, хотя она называла его еще с каким-то титулом, которого я не понял. Вот и все, что мне запомнилось... Впрочем, еще что-то о городе, да, о Золотом городе и о последней великой битве, в которой Хьюберт погиб, покрыв себя славой победителя. Я понял, что она хотела рассказать мне об этой битве, потому что этого нет в рукописи, но тут как раз вы ее прервали, и, конечно, она исчезла. Да, цена – пятьдесят фунтов, и ни фардингом меньше, но вы можете заплатить, когда вам удобно; я ведь знаю, что вы честный, как и большинство людей; к тому же, заплатите вы или нет, все равно сундучок предназначен для вас и ни для кого другого, – и сундучок, и все, что в нем есть.

– Ну ладно, – сказал я. – Но только не поручайте его грузчику. Я сам пришлю за ним завтра утром. А сейчас запирайте его и дайте мне ключ.

Сундучок прибыл в назначенное время, и я исследовал сверток и его содержимое; об остальных вещах упоминать не стану, хотя кое-какие из них и представляли интерес. В свертке я обнаружил своего рода документ, или записку, – она была приколата булавкой к внутренней стороне шали. В записке не было ни даты, ни подписи, но по почерку и стилю я заключил, что ее автор – женщина, я бы сказал леди, и что написана она лет шестьдесят тому назад. Вот ее содержание:

*«Мой покойный отец, который в молодости был великим путешественником и так любил исследовать чужие страны, привез эти вещи, кажется, из Южной Америки, из поездки, которую он совершил еще до своей женитьбы. Однажды он рассказал мне, что это платье было обнаружено в гробнице на мумии женщины, и что эта женщина при жизни была, вероятно, знатной дамой, ибо ее окружали другие женщины, должно быть, ее служанки, которых хоронили рядом с ней по мере того, как они умирали. Все они располагались в сидячем положении на каменной плите, и среди них были обнаружены останки мужчины. Отец нашел их в гробнице, над которой был насыпан большой холм из земли, близ развалин какого-то лес-*

ного города. Тело госпожи, окутанное подобием савана из шкур длинношерстных овец как бы для того, чтобы сохранить ее платье, было набальзамировано особым способом, который, по словам местных жителей, указывал на ее принадлежность к царственному роду. Остальные уже превратились в скелеты, державшиеся только благодаря коже, но на черепе мужчины сохранились светлые волосы и длинная рыжеватая борода, а рядом лежал меч с крестообразной рукояткой и янтарным верхом, потемневшим от времени до черноты. Меч рассыпался при первом же прикосновении, кроме рукоятки. Помню, отец сказал, что у ног мужчины лежал пакет из овечьей кожи или пергамента с рукописью, сильно подпорченной сыростью. Он рассказал мне, что заплатил тем, кто нашел эту гробницу, большие деньги за платье, золотые украшения и изумрудное ожерелье, так как никогда еще не находил более совершенных произведений рук человеческих, а ткань, из которой сделано платье, вся пронизана золотой нитью. Отец также высказал мне свое желание, чтобы эти вещи никогда не были проданы».

На этом запись кончалась.

Прочитав ее, я внимательно рассмотрел платье. Мне еще никогда не доводилось видеть такой одежды, хотя эксперты, которым я его показывал, говорят, что оно, несомненно, южно-американского происхождения и так же, как и украшения, относится к очень древнему периоду, возможно даже, предшествовавшему эпохе перуанских инка. По расцветке – яркой и богатой оттенками – оно напоминает старинные индийские шали; создается общее впечатление малинового цвета. Это малиновое одеяние, очевидно, носили поверх полотняной юбки, отделанной фиолетовой или пурпурной каймой. В шкатулке, о которой я уже говорил, лежали украшения сплошь из чистого потускневшего золота: пояс; головной убор в виде золотого обруча, украшенного серпом молодой луны; и изумрудное ожерелье из цельных камней, сейчас уже изрядно попорченных, не знаю, по какой причине, но отшлифованных и довольно грубо оправленных чистым золотом. Были там также два кольца. Одно из них было обернуто листком бумаги, на котором уже другим почерком (возможно, отцом женщины, оставившей записку) было написано:

*«Снято с указательного пальца женской мумии, которую, к моему великому сожалению, при данных обстоятельствах совершенно невозможно было увезти».*

Это – широкое кольцо из золота с плоской пластинкой, на которой когда-то была гравировка, теперь уже стершаяся и ставшая неразборчивой. Видно, это перстень с печаткой старинной европейской работы, но какого века и какой страны – определить невозможно. Второе кольцо хранилось в маленьком кожаном мешочке, затейливо вышитом золотой нитью или очень тонкой проволочкой и составлявшем, как я полагаю, деталь женского наряда. Оно похоже на очень массивное обручальное кольцо, только раз в шесть или семь толще, и покрыто выгравированным традиционным узором, напоминавшим звезды с расходящимися от них лучами или, может быть, цветы с лепестками. И, наконец, там была рукоятка меча, о которой я ниже скажу несколько слов.

Таковы были обнаруженные мною безделушки, если можно их так назвать. Сами по себе они не имеют особой ценности, не считая веса золота, потому что, как я уже сказал, изумруды сильно попорчены – как будто они пострадали от огня или по какой-то другой причине. Более того, в них нет и доли того изящества и очарования, каким отличаются драгоценности Древнего Египта; очевидно, они принадлежали более грубому веку и более грубой цивилизации. И все же в моем воображении они имели и до сих пор имеют особое, свойственное только им достоинство.

К тому же – в этом на меня повлиял дух оригинального Потса – все эти вещи несут в себе множество человеческих ассоциаций. Кто носил это малиновое платье с вышитыми на нем золотыми крестиками (конечно, они не могли быть христианскими крестами), и эту окаймленную пурпуром юбку, и изумрудное ожерелье, и золотой обруч с серпом молодой луны? Очевидно, та, что превратилась в мумию в гробнице, та давно умершая женщина странного незна-

когого племени. Была ли она такой, какой увидел ее этот старый безумец Потс, вообразивший, будто она стоит перед ним в грязной, загроможденной вещами комнате ветхого дома в английском провинциальном городе, женщина с большими глазами, напоминающими глаза лани, и с царственной осанкой?

Нет, все это чепуха. Потс так долго жил с призраками, что поверил в их реальность, тогда как они возникли в его воображении и снова возвратились в него. Но все-таки это была некая женщина, и у нее, по-видимому, был возлюбленный или муж, человек с пышной светлой бородой. Каким образом в ту эпоху, должно быть, весьма отдаленную, какой-то златобородый мужчина мог сблизиться с женщиной, носившей такие богатые платья и украшения? А этот меч с рукояткой, отполированной частым прикосновением чьей-то руки и украшенной янтарным верхом, – откуда он? По-моему, думал я, – и впоследствии эксперты подтвердили мое предположение, – эта рукоятка по стилю очень напоминает древнескандинавское оружие. Я читал саги и помнил, что в одной из них рассказывалось о нескольких смелых скандинавах, которые приплыли к берегам земли, известной ныне под названием Америка, – кажется, их предводителем был некто Эрик. Может быть, светловолосый человек в гробнице был одним из этих викингов?

Так размышлял я, еще не заглядывая в пачку пергаментных листов, изготовленных из овечьей кожи человеком, который имел самые элементарные познания относительно обработки подобного материала; я еще не знал, что в этих листах скрывается ответ на многие из моих вопросов. К ним я обратился в последнюю очередь, ибо всех нас отпугивают пергаментные рукописи; ведь их так трудно и скучно читать. А здесь их была целая пачка, обвязанная чем-то вроде соломенной бечевки – эта тонкая соломка напомнила мне ту, из которой делают панамы. Но бечевка почти сгнила внизу, так же, как и нижние листы пергамента, от которых остались лишь обрывки, хрупкие и покрытые засохшей плесенью. Поэтому я без труда удалил эту бечевку. Оставалось только снять обнаруженный под ней и скреплявший листы вместе какой-то толстый, сравнительно современного вида шнур. Вплетенная в него красная нить указывала на то, что это флотский шнур старого образца.

Освободив таким образом пачку пергамента, я снял верхний лист чистой кожи. Под ним открылся первый лист пергамента, сплошь покрытый мелкими буквами «черного письма» – старинного английского готического шрифта, столь тусклого и поблекшего, что даже умей я читать английский готический шрифт (а я не умею), то и тогда я бы ничего не смог разобрать. Безнадежное дело! Несомненно, в этой рукописи – ключ к тайне, но она никогда не будет расшифрована ни мною, ни кем-либо другим. Леди с глазами лани явилась старому Потсу напрасно; напрасно она велела вручить мне эту рукопись.

Так думал я в то время, не зная возможностей науки. Однако позже я отнес эту толстую пачку к одному из друзей, ученому другу, чье жизненное призвание состояло в обработке и расшифровке старинных рукописей.

– Похоже, что безнадежно, – сказал он после пристального осмотра рукописи. – Все же попробуем, не попробуешь – не узнаешь.

Он подошел к шкафу, стоявшему в его рабочем кабинете, и вынул оттуда бутылку, наполненную какой-то жидкостью соломенного цвета; обмакнув в ней обыкновенную кисточку, какой пользуются живописцы, он несколько раз провел ею по первым строкам рукописи и стал ждать. Не прошло и минуты, как пред моим изумленным взором эти бледные неразборчивые буквы стали черными, как уголь, словно они были только вчера выведены самыми лучшими современными чернилами.

– Все в порядке, – сказал он торжественно. – Это были растительные чернила, а мое снадобье имеет силу восстанавливать их в том виде, какой они имели при первоначальном употреблении. Они останутся такими недели две, а потом опять поблекнут. Ваш манускрипт,

мой друг, весьма древний, я бы сказал, времен Ричарда II<sup>1</sup>, но я достаточно легко его читаю. Вот послушайте начало: «Я, Хьюберт де Гастингс, пишу это в стране Тавантинсу́йу, далеко от Англии, где я родился и куда никогда более не вернусь, будучи скитальцем, как и предсказано руной на мече моего предка Торгриммера, каковой меч моя мать вручила мне в тот день, когда французы сожгли Гастингс...», – и так далее. – Здесь мой друг умолк.

– Ну, так прочтите же это, ради Бога! – сказал я.

– Дорогой друг; – ответил он, – насколько я понимаю, это работа на несколько месяцев, а за мое время – простите, что я так говорю, – мне платят жалованье. Но я скажу вам, что нужно сделать. Все это писанье нужно обработать лист за листом, и когда оно почернеет, нужно его сфотографировать, прежде чем оно снова поблекнет. Затем следует пригласить опытного специалиста, – мне уже пришли в голову два имени, – который и расшифрует рукопись, тоже лист за листом. Конечно, вам это обойдется недешево, но, по-моему, дело стоит того. Кстати, черт возьми, где находится – или находилась – эта страна Тавантинсу́йу?

– А я знаю, – сказал я, радуясь, что хотя бы в одном скромном пункте я оказался выше моего ученого друга. – Тавантинсу́йу было туземным названием Империи Перу до испанского вторжения. Но как этот Хьюберт попал туда во времена Ричарда II? Ведь это на несколько столетий раньше, чем Писарро ступил на ее берега.

– Вот и докопайтесь, – ответил он. – Это развлечет вас на долгое время, а результаты, возможно, окупят затраты на расшифровку – если рукопись окажется достойной публикации. Я-то думаю, что нет, если сказать по правде, я прочел массу старинных рукописей и нашел, что большинство их ужасно скучны.

Итак, дело сделано – о том, какой ценой, я предпочту умолчать; и вот вам результат, более или менее модернизированный, поскольку Хьюберт из Гастингса часто выражал свои мысли в странной и архаичной форме. Иногда он употреблял также индейские слова, как будто он так долго говорил на языке этих перуанцев, или скорее на его разновидности – чанка, что начал забывать родной язык. Я лично нашел его рассказ романтическим и интересным и надеюсь, что и многие другие присоединятся к моему мнению, Пусть судят сами.

Но как бы я хотел знать конец этой истории!

Несомненно, кое-что об этом было написано на истлевших страницах, хотя, конечно, не о той великой битве, в которой он погиб; ведь Куилла совсем не умела писать, тем более по-английски, хотя она, думаю, пережила и его, и эту битву.

Единственный намек на то, чем все закончилось, может быть, содержится в сновидении – или видении – старого Потса, но чего стоят сны и видения?

---

<sup>1</sup> Ричард II – король Англии, 1377—1399 (прим. пер.).

## КНИГА ПЕРВАЯ

### ГЛАВА I. МЕЧ И КОЛЬЦО

Я, Хьюберт из Гастингса, пишу это в стране Тавантинсуйу, далеко от Англии, где я родился и куда никогда более не вернусь, будучи скитальцем, как и предсказано руной на мече моего предка Торгриммера, каковой меч моя мать вручила мне в тот день, когда французы сожгли Гастингс. Я пишу это пером, добытым из крыла большого горного орла и отточенным мною до нужной формы; чернилами, которые я приготовил из сока открытых мной определенных растений; и на пергаменте, который я получил, расщепляя кожи здешних овец собственными руками, но боюсь, что плохо, хотя я и видел, как практиковали это ремесло, когда был купцом в городе Лондоне.

Начну сначала.

Я – сын владельца рыболовецкой флотилии, и торговал рыбой в древнем городе Гастингсе, а мой отец утонул в открытом море во время лова. Будучи его единственным сыном, оставшимся в живых, я унаследовал его дело и однажды с двумя моими подручными вышел в море ловить сетями рыбу. Я был тогда молод – лет двадцати трех – и не лишен привлекательности. У меня были длинные светлые вьющиеся волосы и широко расставленные большие голубые глаза: они и сейчас такие же, хотя несколько впали и потемнели в этой стране палящего, яркого солнца. Нос с широкими ноздрями был довольно велик, так же, как и рот, хотя моя мать, да и некоторые другие находили, что он красивой формы. Сказать по правде, я вообще был крупного сложения, хотя и не очень высокого роста, с необыкновенно плотным и крепким телом и очень сильный; настолько сильный, что мало кто мог сбить меня с ног, даже когда я был ребенком.

В остальном, подобно царю Давиду, я, теперь такой загорелый и обветренный, что если бы не светлые волосы и борода, меня даже на небольшом расстоянии могли бы принять за одного из окружающих меня индейских вождей, – имел свежий и приятный вид, возможно, благодаря удивительному здоровью, ибо я ни одного дня не знал, что такое болезнь; и отличался легким покладистым характером, какой часто, сопутствует здоровью. Добавлю также – почему бы и нет? – что я не был глуп, а напротив, принадлежал к тем, кто преуспевает в том, к чему может приложить свой ум. Будь я глуп, я бы не был ныне властителем великого народа и мужем их царицы; скажу больше – меня бы давно не было в живых.

Но довольно обо мне и моей внешности в те годы, которые кажутся мне теперь такими далекими, как будто все это было где-то в стране сновидений.

Итак, я и двое моих подручных, таких же моряков, как я и большинство жителей Гастингса, в один летний вечер вышли в море с намерением ловить всю ночь и вернуться домой на заре. Мы прибыли на место лова и забросили сеть, и тут нас посетила необыкновенная удача, ибо к трем часам утра наша большая шхуна была вся заполнена самой разнообразной рыбой. Никогда еще наши сети не приносили нам столь богатой добычи.

Оглядываясь теперь на тот обильный улов, как и на все другие, даже мелкие, события моей юности, случавшиеся со мной до того, как я стал скитальцем и изгнанником – я вижу в нем как бы некое предзнаменование. Ибо разве не было моим постоянным уделом в жизни – быть сначала обласканным Фортуной, а потом вдруг терять все собранные большие богатства, так же как мне суждено было потерять то великое множество рыбы?

Сегодня, когда я пишу это, я вновь обладаю огромным богатством величия, любви, власти, а также золота, – больше, чем я могу сосчитать. При моем появлении мои армии, которые все еще смотрят на меня как на полубога, приветствуют меня громкими криками и целуют

воздух по своему языческому обычаю. Моя прекрасная жена – царица – склоняется передо мной, а женщины моего дома повергаются в прах. Люди древнего Золотого Города поворачиваются лицом к стене, а дети прикрывают глаза ладонями, не смея взглянуть на мое величие, когда я прохожу мимо, в то время как бросают передо мною цветы, чтобы мои ноги не ступали по голой земле. От моего суждения зависит жизнь или смерть, и каждое мое слово, даже брошенное вскользь, воспринимается как голос с неба. Все это – мое, как и многое другое, все атрибуты власти и имущества – прерогатива Повелителя из Моря, который принес победу людям Чанка и привел их обратно на их древнюю родину, где они могли бы жить в безопасности, вдали от ярости Инка.

И все же часто, когда я сижу один среди всего этого величия на крыше древнего дворца или брожу под звездным небом в дворцовых садах, я вспоминаю тот богатый улов у берегов Англии и то, что было потом. Я вспоминаю также дни процветания и богатства, сделавшие меня одним из первых купцов Лондона, и то, что было потом. Я вспоминаю, наконец, как я завоевал Бланш Эйлис, столь превосходившую меня по знатности и положению, и то, что было потом. И тогда мной овладевает страх, что может последовать за нынешним часом мира, любви и благоденствия.

Одно последует несомненно, и это – смерть. Быть может, она еще далеко, быть может, – близко. Но вчера мои шпионы донесли мне, что Кари Упанки, Инка Тавантинсуйу, – тот, кто когда-то любил меня, как брата, а теперь ненавидит из-за своих суеверий и за то, что я взял в жены Деву Солнца, – собирает большое войско, намереваясь пройти той же дорогой, по которой много лет назад прошли мы, когда народ Чанка бежал от тирании Инка на свою родину, в древний Золотой Город, – прийти сюда и уничтожить нас. По слухам, это войско сможет выступить не раньше, чем через год, и еще один год пройдет, прежде чем они сюда явятся. Однако, зная Кари, я уверен, что они выступят, и более того – что они придут сюда, и тогда начнется великая битва в горных ущельях, куда, как в старину, я уведу армии Чанка.

Может быть, мне суждено пасть в этой битве. Разве руна, начерченная на мече моего предка Торгриммера «Взвейся-Пламя», не говорит о том, кто владеет им, что

*«Став победителем, он будет побежден,*

*В дальнем краю уснет со мною он...»?*

Что ж, если народ Чанка одержит верх, что мне до того, что я сам буду побежден? Это была бы славная и чистая смерть – погибнуть от копья Кари, зная, что и его войско тоже погибнет, – а я клянусь, что они погибнут, и да поможет мне Святой Хьюберт! Тогда, по крайней мере, Куилла и ее дети жили бы в мире и величии, поскольку никто бы им больше не угрожал.

Смерть... Что такое смерть? Я скажу, что это надежда для каждого из нас, а больше всего – для изгнанника и скитальца. В лучшем случае это слава, в худшем – сон. Более того, уж так ли я счастлив, чтобы бояться умереть? Куилла не сумеет прочесть то, что я пишу, и поэтому я отвечаю: нет. Я христианин, а она и окружающие ее люди – даже мои собственные дети – поклоняются луне и небесному воинству. У меня белая кожа, а у них – с оттенком меди, хотя, правда, моя малютка, дочь Гудруда, которой я дал имя моей матери, – почти белая, как я. В их сердцах скрываются тайны, которых я никогда не узнаю, так же как в моем сердце есть тайны, которых они никогда не разгадают, – потому что у нас разная кровь. И однако, видит Бог, я искренне полюбил их и больше всего – эту величайшую из женщин – Куиллу.

О! Истина в том, что здесь, на земле, для человека нет счастья.

Слух о предстоящем нашествии Кари с его войском и заставил меня приняться за дело, которое давно уже было у меня на уме, – написать кое-что из моей истории как в Англии, так и в этой стране – ведь я первый белый, чья нога ступила на ее землю. Наверно, это глупая затея, ибо кто же прочтет то, что я напишу, и что случится с тем, что будет мною написано? Я распоряжусь, чтобы рукопись положили в гробницу у моих ног, но кто и когда найдет эту гробницу? И все же я пишу, ибо что-то в моем сердце побуждает меня взяться за эту задачу.

Возвращаюсь к давно прошедшим дням. Когда наша шхуна наполнилась рыбой, мы с веселым сердцем подставили парус легкому ветерку, дувшему с моря к берегам Гастингса. Было еще почти темно, и над морем висел густой туман, но этого слабого ветра было достаточно, чтобы шхуна продвигалась вперед. И вдруг мы услышали голоса, как будто вокруг разговаривали люди, и скрип мачт. В это время порыв ветра на мгновение разорвал завесу тумана, и мы увидели, что находимся среди большой флотилии – французской флотилии, ибо на их мачтах развевались лилии Франции; мы увидели также, что носы кораблей устремлены к берегу Гастингса, хотя в эту минуту они как будто замерли в своем движении, поскольку ветер, силы которого было достаточно для нашей легкой рыбацкой шхуны с большим парусом, был слишком слаб, чтобы приводить в движение тяжеловесные корабли. Как назло, нас тоже заметили, и с ближайшего корабля на нас посыпались угрозы и проклятья, а вслед за криками в нас полетели стрелы, которые лишь чудом не заделали нас.

Потом туман снова сомкнулся, и под его прикрытием мы проскользнули сквозь французскую флотилию.

Прошел почти час, прежде чем мы достигли Гастингса. Едва шхуна коснулась причала, как я выскочил на мостки с криком: «Тревога! Тревога! На нас идут французы! К оружию! Мы прошли сквозь целую флотилию в тумане».

В одно мгновение сонная набережная как будто проснулась. С расположенного поблизости рыбного рынка, из других мест – отовсюду бежали моряки и разные другие люди, за ними – дети, а из дальних домов выбегали женщины с испуганными лицами, будто затравленные кролики из своих норок. Через минуту меня уже обступила толпа, все наперебой и хором засыпали меня вопросами, на которые я мог ответить только криком: «Тревога! На нас напали французы! К оружию, говорю я! К оружию!»

Тут сквозь толпу ко мне приблизился старик с белой бородой и официальной бляхой на груди, громко взывая к преграждавшей ему путь массе людей: «Дорогу бейлифу!<sup>2</sup>»

Толпа послушно расступилась, и мы оказались с ним лицом к лицу.

– В чем дело, Хьюберт из Гастингса? – спросил он. – Или где-нибудь пожар, что ты так громко кричишь?

– Да, ваша милость, – отвечал я. – Пожар, и убийство, и все дары, которые французы приготовили для Англии. Флот французов приближается к Гастингсу, пятьдесят кораблей, а то и больше. Мы пробрались между ними в тумане, ибо ветер, слишком слабый для больших кораблей, нам благоприятствовал, да и они не обратили особенного внимания на рыбацкую шхуну – выпустили пару стрел, вот и все.

– Откуда они явились? – спросил бейлиф, совершенно озадаченный внезапностью события.

– Не знаю, но люди из встречной лодки крикнули нам, что эти французы грабят все побережье и направляются к Гастингсу, чтобы предать его огню и мечу. Но это и все, что мы услышали, потому что лодка исчезла в тумане; могу сказать лишь одно – не пройдет и часа, как французы будут здесь.

Не сказав ни слова, бейлиф повернулся и бросился бежать по направлению к городу, и вскоре зазвонили колокола в церквях Всех Святых и Св. Клементя, а глашатаи стали созывать всех мужчин на Рыночную площадь. Бросив печальный взгляд на свою шхуну с таким богатым уловом, я тоже направился в город вместе с моими двумя помощниками.

Вскоре я очутился перед старинным бревенчатым домом, невысоким, длинным и обширным, с примыкавшим к нему двором, наполненным бочками, якорями и другими предметами морского промысла, снастями вроде канатов и тому подобными принадлежностями моего ремесла.

---

<sup>2</sup> Бейлиф (исп.) – представитель короля, осуществлял власть в данном месте (прим. пер.).

И вот я, Хьюберт, охваченный страхом, хотя и не за себя, и чувствуя то волнение в крови, которое естественно испытывает человек моих лет перед предстоящей ему первой битвой, бросился к этому дому, но на мгновение задержался у большого вяза, растущего у входа; его нижние ветви были спилены, чтобы не заслонять окна от света, Я очень хорошо помню этот вяз, прежде всего потому, что, когда я был ребенком, в его дупле гнездились скворцы, и я вырастил одного из птенцов в сплетенной из прутьев клетке и научил его говорить. Он прожил у меня несколько лет. Он стал таким ручным, что часто сопровождал меня, сидя у меня на плече, пока наконец в одну из моих прогулок за город его не спугнула кошка, и прежде чем я успел его поймать, он стал добычей ястреба; впоследствии я отомстил за него, застрелив этого ястреба из лука.

Я помню старый вяз еще и потому, что в то утро, когда я остановился возле него, я заметил, какой он густой и зеленый. А на следующее утро после пожара я вновь увидел его – обугленным и почерневшим, с завявшей, опаленной листвой. Этот контраст запечатлелся в моей памяти, и всякий раз, когда я вижу, как удача и процветание сменяются разорением, или жизнь – смертью, я всегда вспоминаю этот вяз. Ибо именно такие мелочи, которые мы видели сами, а не то, о чем пишут и рассказывают другие, помогают нам оценивать и сопоставлять события.

Причина, побуждавшая меня спешить к этому дому, заключалась в том, что в нем жила моя вдовствующая мать. Зная, что появление французов означает зло и бедствия, ибо пролетевшая у меня над головой стрела, а может быть, и донесшиеся с одного из кораблей обрывки брани не предвещали ничего хорошего, – первое, что я решил сделать, это увести мать в какое-нибудь безопасное место. Это было нелегко, так как с возрастом моя мать сильно ослабела, и я невольно остановился, чтобы представить себе свои возможные действия. Впрочем, вторым, что задержало меня у вяза, была мысль о том, как бы не слишком испугать ее своим сообщением. Обдумав все это, я вошел в дом.

Дверь вела в общую комнату с низким оштукатуренным потолком, покоившимся на крепких дубовых балках. Там я и застал мою мать. Она стояла на коленях, придерживаясь рукой за край стола, на котором все было приготовлено к завтраку: жареная сельдь, холодное мясо и кружка эля. По своему обыкновению, мать молилась; она была очень религиозна, хотя и на новый лад, ибо следовала проповеднику по имени Уиклиф<sup>3</sup>, который в те дни будоражил и смущал Церковь. Видимо, она уснула во время молитвы, и я с минуту молча смотрел на нее, не решаясь ее разбудить. Даже в старости (я родился, когда она прожила в замужестве лет двадцать, если не больше) она была очень красивой женщиной, с белыми волосами и тонкими чертами лица, говорившими о благородной крови: она была более высокого происхождения, чем мой отец, и поссорилась со своей родней, выйдя за него замуж.

При звуке моих шагов она очнулась и увидела меня.

– Странно, – сказала она. – Я уснула за молитвой, а ночью почти не спала – как бывает со мной, когда ты уходишь в море, да простит меня Бог; и мне приснилось, будто нас ждет какая-то беда. Не брани меня, Хьюберт. Ведь если море уже забрало отца и двух сыновей, не удивительно, что мне страшно за последнего из моих отпрысков. Помоги мне подняться, Хьюберт; кажется, мои руки и ноги налились водой, такие они тяжелые. Лекарь говорит, что однажды она доберется до сердца, и тогда все будет кончено.

Я повиновался, поцеловал ее в лоб, и когда она уже сидела за столом в своем кресле, сказал:

– Твой сон в руку, матушка. Нас ждет беда. Слышишь? Колокола Св. Клементя говорят о ней. Нас собираются посетить французы. Я знаю потому, что на рассвете прошел сквозь их флотилию.

---

<sup>3</sup> Английский реформатор XIV в., теолог, переводчик Библии на английский язык (прим. пер.).

– Вот как? – сказала она спокойно. – Я боялась худшего. Боялась, что ты последовал за братьями в пучину. Ну что же, французы пока еще не появились, а ты здесь, слава Богу. Так что ешь и пей; ведь мы в Англии сражаемся лучше на полный желудок.

Я снова повиновался, ибо после долгой ночи был голоден и хотел пить; и только я успел поесть и выпить кружку эля, как мы услышали крики и топот бегущих людей.

– Ты слышишь, Хьюберт? Хочешь присоединиться к остальным и послать одного-двух французов в ад с помощью твоего большого лука? – спросила мать.

– Нет, – ответил я, – я спешу увести тебя из этого города, который, боюсь, будет сожжен. Близ Миннес-Рок есть одна пещера; там, думаю, ты будешь вне опасности, матушка.

– От моих предков, Хьюберт, я унаследовала одно качество, свойственное женщинам Севера, – никогда не прятаться, как за щит, за спины своих мужчин, когда долг призывает их быть где-то в другом месте. Мои ноги совсем ослабели, мне не под силу пробираться по скалам и прятаться в пещерах, а нести меня в гору слишком тяжело. Я останусь здесь, где прожила эти сорок пять лет, выживу или умру – на то воля Божья. Ступай же и выполняй свой долг. Постой! Собери наших девушек и вели им уходить из города в их деревни. Они молоды и проворны, и никакой француз их не догонит.

Я созвал служанок, которые с побелевшими от страха лицами столпились на чердаке у окна. Через три минуты их уже и след простыл, хотя одна из них, самая храбрая, и хотела было остаться со своей хозяйкой.

Я проводил их взглядом, пока они не затерялись в потоке людей, покидавших Гастингс, и вернулся к матери. В эту минуту мощный многоголосый крик известил нас, что французский флот появился в виду Гастингса.

– Хьюберт, – сказала мать, – возьми этот ключ от комода и ступай ко мне в спальню, приподними белье, что лежит сверху, и возьми и принеси мне то, что под ним лежит, завернутое в тряпку.

Я выполнил то, что она велела, и вернулся с длинным и узким свертком. Взяв нож, она разрешила скреплявший его шнурок. Внутри оказался мешочек с деньгами и меч в старинных ножнах, покрытых грубой кожей, которую я счел кожей акулы, и местами отделанных золотом.

– Вынь его из ножен, – сказала мать.

Я повиновался, и перед глазами блеснул обоюдоострый клинок вороненой стали. Я никогда не видел такого меча, ибо на его клинке были выгравированы странные знаки, совершенно мне не приятные, хотя я умел читать и писать, еще в детстве научившись грамоте у монахов. Рукоятка в форме креста была тоже отделана золотом и увенчана шарообразной верхушкой из янтаря, потускневшего от частого употребления. В целом это было прекрасное оружие, к тому же хорошо сбалансированное.

– Что это за меч? – спросил я.

– Слушай, сын. Вместе с твоим луком, – и она указала на прислоненные к столу лук и колчан, – этот меч прошел через руки многих поколений. Мой отец рассказывал, что он принадлежал некоему Торгриммеру, его предку-скандинаву – отец называл его викингом, – который был с теми, кто завоевал Англию до того, как ее захватили норманны. Я охотно этому верю, поскольку имя моего отца – как и мое имя до замужества – было Гриммер. Этот меч тоже имеет имя – «Взвейся-Пламя». Рассказывают, что с его помощью Торгриммер совершал великие подвиги, убивая по обыкновению язычников множество людей в битвах на суше и на море. Ибо он странствовал по свету и однажды, говорят, даже высадился на неизвестной земле далеко за океаном; наконец после многих удивительных приключений он стал одним из завоевателей Англии, где и погиб в какой-то схватке. Вот и все, что я знаю, не считая того, что один ученый человек с севера однажды растолковал отцу моего отца, что означает эта надпись на мече:

*Тот, кто взметнет высоко Взвейся-Пламя,*

*Прожив в любви, умрет на поле брани.  
Носимый бурями, моря пересечет  
И в чуждых землях свой приют найдет.  
Став победителем, он будет побежден,  
В дальнем краю уснет со мною он.*

Я запомнил эту надпись, потому что она в стихах, а также потому, что, видимо, такова и была участь Торgrimмера и его меча, который его внук извлек из гробницы.

Тут я бы охотно расспросил мать о внуке Торgrimмера и о гробнице, но на это ушло бы много времени, и я промолчал.

– Всю жизнь я хранила этот меч, – продолжала мать, – не давая его ни твоему отцу, ни братьям, чтобы их не постигла предсказанная в этих стихах участь: ведь эти древние северные маги, которые с таким искусством и трудолюбием ковали подобное оружие, были способны предвидеть будущее, как временами могу и я, это у меня в крови. Но сейчас, Хьюберт, что-то побуждает меня вручить тебе этот меч. Возьми его и иди туда, куда поведет тебя его пламя и твоя судьба, какова бы она ни была, – я знаю, что ты употребишь его не хуже самого Торgrimмера.

После минутной паузы она продолжала:

– Хьюберт, быть может, это наша последняя разлука, ибо я чувствую, что близится мой час. Но пусть это тебя не огорчает – я рада соединиться с теми, кто ушел до меня, и со всеми другими – может статься, с самим Торgrimмером, Послушай, Хьюберт: если что-нибудь случится со мной или с этим домом – не оставайся здесь. Поезжай в Лондон и разыщи там моего брата, Джона Триммера. Он богатый купец и золотых дел мастер и живет в той части города, что называется Чип<sup>4</sup>. Он знал тебя ребенком и любил тебя, и поскольку у него нет детей, он охотно примет тебя ради нас обоих. Мой отец не хотел вручать Джону меч, чтобы не навлечь на него беды, но я знаю, что Джон будет рад приютить члена нашего рода, владеющего этим мечом. Бери же его, а заодно и это золото, оно может тебе пригодиться еще до того, как все будет кончено. Да, и еще одно – вот это кольцо: по преданию, оно перешло от предков вместе с мечом и луком, и когда-то на нем тоже была надпись, только давно уже стерлась. Возьми его и носи, пока не наступит день, когда ты, может быть, наденешь его на чью-то руку, как это однажды сделала я.

Дивясь всей этой истории, которую моя мать со свойственной ей сдержанностью до этой минуты хранила от меня в тайне, я надел кольцо на палец.

– Я отдала это кольцо твоему отцу в день нашего обручения, – продолжала мать, – и сняла его с его мертвой руки, после того как его тело нашли в море. А теперь я передаю его тебе – быть может, единственному, кто скоро останется в живых из нас обоих. Слышишь? Глашатай сзывает всех мужчин с оружием на Рыночную площадь, чтобы сразиться с врагами Англии. Еще одно слово, пока я опоясаю тебя этим мечом, как, несомненно, опоясали им твоего предка Торgrimмера его женщины. Да будет на тебе мое благословение, Хьюберт. Будь таким, как Торgrimмер, – ведь мы, в ком течет скандинавская кровь, не хотим, чтобы наши любимые и сыновья оказались в последних рядах, когда сверкают мечи и летают стрелы. Но будь в чем-то выше Торgrimмера – будь христианином; помни, пока ты жив и Девы-Воительницы еще не отметили тебя роковой меткой, что в какой-то день ты все же умрешь и будешь призван к ответу.

Хьюберт, ты из тех, кого любят женщины; кто боюсь, будет тоже любить женщин, ибо по законам самой природы эта слабость сопутствует всегда силе и мужеству. Будь осторожен с женщинами, Хьюберт, и если сможешь, общайся с теми, в ком нет фальши, и выбери ту, которая будет и верна тебе больше всех других. Ты будешь скитаться в дальних краях – я вижу по

---

<sup>4</sup> Чипсайд – ныне улица в северной части Лондона. В средние века на этом месте был главный рынок города (прим. пер.).

твоим глазам, что тебе суждены далекие странствия, – но в душе всегда оставайся англичанином. Поцелуй меня и ступай! Мальчик мой! Ты не забыл захватить запасные стрелы и кожаную куртку, что носил твой отец? И то, и другое тебе сегодня понадобится. Теперь прощай! Да хранит тебя Бог и Христос, – и стреляй ты метко, и рази крепко. Нет, нет, не надо слов – они замутят мой взгляд, а ведь я подымусь на чердак и буду смотреть из окна, как ты сражаешься.

## ГЛАВА II. ЛЕДИ БЛАНШ

Я ушел с тяжелым сердцем, так как помнил – хотя и был еще тогда ребенком, – что когда отец и братья утонули, это не было для моей матери неожиданностью, она предвидела их гибель, и я боялся, что она окажется права и в отношении своей собственной судьбы. Я любил свою мать. Правда, она была женщиной суровой, лишенной мягкости: я думаю, она унаследовала это качество вместе с кровью своих предков. Но она обладала великим сердцем, и ее последние слова были полны благородства. И все же, несмотря на такое чувство, я был доволен, как был бы доволен на моем месте всякий молодой человек, получив в дар удивительный меч, некогда принадлежавший Торгриммеру, моряку-скитальцу, чья кровь текла в моем теле, опоясанном этим мечом; и я надеялся, что мне представится случай воспользоваться им столь же достойно, как им пользовался Торгриммер в давно забытых битвах. Обладая живым воображением, я подумал о том, знает ли меч, что после долгого сна он вновь явился на свет, чтобы упиться кровью врагов.

Я был доволен и другим: мать сказала, что я проживу свой срок и не умру сегодня от руки француза, и что я узнаю любовь – о которой, сказать по правде, уже немного знал, ибо я был красивый малый, и женщины от меня не бегали, а если убегали, то скоро останавливались. Я хотел жить, хотел пройти через множество приключений и завоевать великую любовь. Единственное, что мне не понравилось, это приказ, данный мне матерью: ехать в Лондон, чтобы засесть там в мастерской золотых дел мастера. Однако я слышал, что в Лондоне много интересного, и уж во всяком случае там все не так, как в Гастингсе.

Улица перед нашим домом была полна народа. Мужчины спешили к Рыночной площади, пробираясь среди цепляющихся за них и плачущих жен и детей; другие – старики, женщины и девушки, и малые дети – устремились прочь из города. Я обнаружил, что оба моряка – те, что были со мной в лодке, – ждут меня. Это были закаленные малые по имени Джек Гривз и Уильям Булл, служившие у нас со времен моего детства, и тот, и другой столь же отличные рыбаки, как и воины; один из них, Уильям Булл, даже участвовал в войнах с Францией.

– Мы знали, что вы придете, и поджидали вас здесь, – сказал Уильям Булл, который, будучи некогда стрелком, был вооружен луком и Коротким кинжалом, в то время как у Джека были только топор да нож, которым у нас чистят рыбу.

Я кивнул им, и мы направились к Рыночной площади, присоединившись к толпе мужчин, которые во множестве стекались туда, чтобы защищать Гастингс и свои дома. Мы явились как нельзя вовремя, ибо французские корабли были уже в нескольких ярдах от берега, а некоторые уже пристали, и матросы и вооруженные люди устремились к берегу в шляпках и вброд.

На площади царила неразбериха, ибо – как всегда бывало в Англии – к атаке неприятеля совершенно не готовились, хотя все сознавали реальную опасность нападения.

Бейлиф бегал среди толпы, выкрикивая приказания, то же делали и другие, но настоящих военачальников не было, и в конечном итоге каждый действовал по своему разумению. Одни бежали на берег и осыпали французов стрелами. Другие искали убежища в домах, третьи топтались на месте в нерешительности, ожидая приказа и не зная, что предпринять. Я и оба мои товарища были среди тех, кто устремился на берег, и я выпустил несколько стрел из моего большого черного лука, и увидел, как один человек упал, сраженный одной из них.

Но наши усилия оказались тщетными, ибо эти французы были хорошо обученными солдатами под надлежащим командованием. Они построились в роты и стали наступать, оттесняя нас с берега. Я держался, сколько мог, и, выхватив меч Взвейся-Пламя, сразился с французом, который был впереди других. Более того, нацелившись ему в голову, я промахнулся, мой удар пришелся ему по руке и отсек ее, ибо я видел, как она упала наземь. Тут на меня набросились другие, и я бежал, спасая свою жизнь.

Каким-то образом я очутился на склоне Замкового холма вместе с толпой других жителей Гастингса, которых преследовали французы. Мы достигли замка и проникли внутрь, но решетка старых замковых ворот не опускалась, а стены в некоторых местах обвалились. Мы здесь обнаружили кучку женщин, которые взобрались на холм, надеясь, что в старом замке они будут в безопасности. Среди них была красивая знатная девушка, которую я знал по виду. Ее Отец был сэр Роберт Эйлис, бывший тогда, по-моему, смотрителем замка Левенси, и ее величали леди Бланш. Однажды я даже разговаривал с нею в связи с одним случаем, о котором слишком долго рассказывать. Тогда ее большие голубые глаза, которыми она умела искусно пользоваться, совершенно вскружили мне голову, ибо она была очень красивая, нежная и грациозная, с удивительно мягким голосом, и совершенно не походила ни на одну из знакомых мне женщин; и при всем том она совсем не была гордячкой. Но тут явился ее отец, старый дворянин, о котором во всей округе никто не сказал доброго слова и которого молва нарекла любителем золота, и быстро увлек ее прочь, спрашивая, с чего это ей вздумалось разговаривать с каким-то грубым простолюдином-рыболовом. Это случилось за несколько месяцев до описываемых событий.

И вот я вновь увидел ее – в этом старом замке и как будто одну; она сразу узнала меня и бросилась ко мне, умоляя о защите. Более того, она начала длинный рассказ (который мне некогда было слушать) о том, как она приехала в Гастингс вместе со своим отцом, сэром Робертом, и молодым лордом по имени Делеруа, который, как я понял, был ее родственником, и ночевала в городе. А также о том, как она потеряла их в толпе, когда они пытались вернуться в замок Левенси, который ее отец должен был охранять, потому что ее лошадь испугалась и понесла, и как кто-то в конце концов взял ее за руку и привел в этот старый замок, уверяя ее, что это самое безопасное место.

– Значит, тут вы и должны остаться, леди Бланш, – сказал я, прервав ее рассказ. – Держитесь за меня, и я спасу вас, если смогу, даже если это будет стоить мне жизни.

Разумеется, она держалась за меня до конца этого ужасного дня, как вы увидите дальше.

С вершины холма мы увидели, как в Гастингсе начался пожар, когда французы подожгли город; построенный из дерева, он вскоре в нескольких местах был охвачен бушующим пламенем. Мы также видели (и слышали) страшные и отвратительные сцены насилия и грабежа, какие происходят в этом нашем христианском мире, когда мирные жители оказываются во власти свирепых захватчиков. В домах людей сжигали; на улицах их убивали, если не хуже. Да, убивали даже детей; позже я видел трупы многих из них.

Спустя некоторое время мы увидели сквозь клубы дыма, что отряды французов собираются атаковать замок. Их было, пожалуй, человек триста, а нас едва ли пятьдесят, из коих многие были почти не вооружены, и целая толпа стариков, женщин и детей. Не знаю, что случилось с другими мужчинами, но поскольку команды отдавались с разных сторон, некоторые устремились в одном направлении, другие – в другом, а кое-кто, думаю, просто бежал, лишенный предводителей.

Поднявшись на холм, французы принялись атаковать наши слабо укрепленные ворота, тараня их толстыми деревянными балками. Те из нас, у кого были луки, сразили некоторых из нападающих, хотя враги были хорошо вооружены, и большинство стрел отскакивало от их кольчуг. Да и немногие из нас имели луки. Более того, стоило нам оказаться на виду, как нас засыпали таким количеством стрел, дротиков и пик, что многие, не имея на себе кольчуг, были убиты или ранены. Наконец враги разбили восточные ворота и через них, а также через проломы в стенах, ворвались внутрь. Мы сражались, как могли; я сам убил двоих мечом Взвейся-Пламя, разрубив одному шлем, – так крепка была сталь моего меча. Рядом со мной был убит Джек Гривз; он был сражен ударом пики и умер, призывая меня бороться за старую Англию и город Гастингс; под конец он сказал что-то насчет пива и испустил дух.

Все завершилось тем, что оставшиеся в живых были вытеснены из замка вместе с женщинами и детьми, причем французские убийцы добивали каждого раненого тут же на месте и пытались захватить любую женщину, которая казалась им достаточно молодой и красивой. Особенно опасным было положение леди Бланш, потому что она была не только прекрасна, но и знатна. Но, по счастливой случайности, я спас ее от этой участи.

Мы оказались среди последних, кто покинул замок, откуда, по правде говоря, я не хотел уходить, ибо кровь во мне кипела, и я вместе с несколькими другими сражался до тех пор, пока нас окончательно не вытеснили за ворота. Я умолял леди Бланш бежать вместе с остальными женщинами. Но она упорствовала, твердя, что не верит никому, кроме меня, и останется со мной даже под угрозой смерти, – как будто это могло помочь хоть одному из нас.

Поэтому и случилось, что высокий французский рыцарь, заметив ее, обогнал своих товарищей, которые устали и перестраивали свои ряды на склоне холма, и, схватив ее поперек талии, попытался унести прочь. Я настиг его, и мы схватились. На нем была кольчуга, в руке – щит, у меня же не было ни того, ни другого, но я имел меч, а он – лишь короткую алебарду. Я знал, что, если он нанесет мне удар этой алебардой, мне конец, ибо моя кожаная куртка не защитит меня. Поэтому моей задачей было держаться вне пределов его досягаемости. Я был молод и подвижен, и по большей части мне это удавалось, тем более что он не мог двигаться достаточно быстро в тяжелых доспехах. В конце концов я ранил его в руку, и он ринулся на меня, выкрикивая проклятья на своем языке.

Я отскочил в сторону и изо всех сил ударил его мечом. Удар пришелся между шеей и плечом, как бы сзади, и такова была закалка этого меча под именем Взвейся-Пламя, что он прошел сквозь кольчугу и проник глубоко в тело – наверное, до самого позвоночника. Во всяком случае француз рухнул наземь – я помню и сейчас, как загремели его доспехи, когда он упал, – и остался недвижим. Тогда мы бросились бежать вниз по крутой тропинке, в одной руке я держал окровавленный меч, другой поддерживая леди Бланш, которая благодарила меня взглядом.

Наконец мы снова были в городе, и на моей улице. По обе стороны горели дома, позади появился новый отряд французов. Смерд ел глаза, и мы то и дело спотыкались о тела убитых или потерявших сознание людей.

Взглянув налево, я увидел вяз, о котором уже говорил, – тот вяз, что рос перед нашим домом, – и за ним языки пламени: наш дом горел. Да, я увидел нечто большее – у распахнутого окна чердака, окруженная как бы огненной аркой, сидела моя мать. Более того, она пела. Я услышал ее голос и какие-то дикие непонятные слова – как ни странно было, но женщина пела перед лицом такой смерти. Она тоже увидела меня и узнала, так как замахала мне руками, а потом указала в сторону моря, – почему, я не понял в ту минуту. Я приостановился, намереваясь спасти ее, хотя такая попытка стоила бы мне жизни, ибо весь фасад дома был объят пламенем. Но в этот миг крыша рухнула, выбросив огненные струи вверх и в стороны, и это был последний раз, что я видел свою мать. Правда, позже мы нашли ее тело и предали его земле вместе с телами других жертв.

Однако нельзя было медлить, так как победоносные французы уже появились в начале улицы позади нас, стреляя на ходу и убивая всех, кто не успел скрыться. Мы побежали дальше, поднимаясь по крутому склону Миннес-Рок. Я предпочел бы бегство в глубь страны, но леди Бланш совсем лишилась сил. Дважды она падала наземь, сраженная ужасом и слабостью, и каждый раз умоляла меня не бросать ее; да я и не собирался ее покинуть. В конце концов Уильям Булл и я подхватили ее и с большими трудами, пробираясь по скалам, понесли в ту пещеру, о которой я говорил матери. На это ушло много сил и времени, так как местами не за что было даже уцепиться. Более того, группа французов, заметив наше бегство, бросилась преследовать нас. Возможно, кто-то из них догадался, что эта молодая леди, которая была с нами, и они решили захватить ее и потребовать выкупа.

Во всяком случае они двигались следом за нами и теми немногими женщинами, которые присоединились к нам, не имея сил бежать дальше, а может быть, веря в то, что Уильям Булл и я сможем защитить их.

Мы достигли пещеры, и, пропустив женщин внутрь, мы с Уильямом остались у входа и стали ждать. У него не было лука, а у меня осталось только три стрелы, но я был хорошим стрелком и решил употребить их наилучшим образом. Я вынул их из колчана, натянул тетиву и присел, чтобы перевести дух. Французы наступали, крича и угрожая перерезать нам горло и захватить прекрасную даму как свою добычу.

– Она будет моей! – вопил огромный малый с плоским носом и широким ртом. Он бежал впереди других и был уже не далее чем в пятидесяти ярдах от нас.

Я поднялся и, обратясь с молитвой к моему покровителю, доброму Св. Хьюберту, чье имя мне дали, раз я впервые увидел свет в его день, 23 ноября, – натянул тетиву моего большого лука до отказа, прицелился и спустил стрелу. Любитель меткой стрельбы, Св. Хьюберт не покинул меня в моей нужде: стрела попала французу прямо в его большой рот и пригвоздила язык к шейному позвонку.

Он рухнул как подкошенный, и, ободренный этим зрелищем, я спустил вторую стрелу в следующего. И этого она сразила, и он упал почти на своего товарища.

Я приладил третью – последнюю – стрелу и переждал мгновение. Позади первых двух бежал коренастый приземистый человек, вероятно, рыцарь, ибо на нем были латы, панцирь и шлем, а в руке щит с изображением петуха. Этот человек, испуганный судьбой своих товарищей, но в то же время не желая уступить добычу тем, кто следовал за ним, согнулся почти вдвое и, заслонив шлем щитом, ринулся вперед.

Я выждал, пока между нами не осталось ярдов двадцать пять, надеясь, что он споткнется о неровности почвы, и щит, сдвинувшись, откроет его голову. Но он не споткнулся, и наконец, вновь помолившись Св. Хьюберту, я натянул тетиву так, что она коснулась моего уха, и отпустил ее. Стрела с наконечником из вороненой стали ударила прямо в центр щита и, клянусь Богом, пробила его и прикрываемую им плоть, так что и этот тоже нашел свою смерть.

– Вот это выстрел! – сказал Уильям. – Ни один лук в мире не дал бы такого.

– Неплохо, – ответил я, – Но это была последняя стрела. Теперь у нас только меч и алебарда – будем держаться, как сможем, пока нас не прикончат.

Уильям кивнул, а женщины в пещере стали плакать и причитать, увидев, что я прячу свой лук в футляр, – скорее, наверно, по привычке, ибо я не надеялся когда-нибудь снова взять его в руки.

Именно в этот момент с французских кораблей в гавани донеслись сигналы тревоги, и французы неожиданно запнулись, повернулись и бросились бежать к берегу. Мы с Уильямом выглянули из пещеры.

Там, на море, приближаясь с востока под хорошим ветром, шли корабли, и на их мачтах развевались флаги Англии – их золотые леопарды сияли на солнце.

– Это наш флот, Уильям, – сказал я. – Сейчас они побеседуют с этими французами.

– Хотел бы я, чтобы они сделали это раньше, – ответил Уильям. – Но все-таки лучше поздно, чем никогда.

Так мы были спасены благодаря Амо де Оффингтону, настоятелю Бэтл Эбби, как мне сказали впоследствии, который собрал войско на суше и на море и отогнал французов, хотя и после того, как они разграбили остров Айн-оф-Уайт, атаковали Уинчелси и сожгли большую часть Гастингса. Так что в конечном счете эти пираты извлекли мало пользы из своих злодейств, поскольку они потеряли целый ряд кораблей со всем, что было на борту, а другие отчалили так поспешно, что их люди остались на берегу и были убиты разъяренной толпой, как только стало понятно, что они брошены своими товарищами. Тем более что действия толпы были поддержаны отрядом настоятеля, прибывшим из Бэтла. Но при всем этом я бездейство-

вал, потому что теперь, когда сражение закончилось, я чувствовал себя, как ребенок, и видел перед собой только образ матери, гибнущей в огне пожара.

Вскоре, однако, случилось нечто, пробудившее меня в моем горе и снова оживившее во мне кровь. Узнав, что опасность миновала, леди Бланш вышла из пещеры, у входа в которую все еще стоял я, прислонясь к скале и сжимая рукоятку меча Взвейся-Пламя, обнаженного для последней смертельной схватки. Какими только нежными словами она меня не называла – и героем, и своим спасителем, и Бог весть как еще.

Наконец, не получив ответа, – ведь я был как в тумане, да и удар, нанесенный мне в грудь французом, которого я убил еще возле замка, уже дал себя почувствовать, – она сделала нечто большее. Обхватив меня руками, она трижды поцеловала меня в щеки и губы; несомненно, она была возбуждена и в порыве благодарности забыла девическую сдержанность, хотя, как потом сказал мне Уильям Булл, эта забывчивость не проявилась в отношении него, несмотря на то, что Уильям тоже помогал ей добраться до пещеры.

Ее поцелуи подействовали на меня, как вино; даже странно, какое влияние, по установлению природы, оказывает на нас в юности первое прикосновение уст прекрасной женщины, если мы ее любим. Мы можем забыть все, что угодно, но его мы помним всегда, как бы фальшивы ни оказались впоследствии эти уста. Значит, когда воск еще мягкий, штамп врежется глубоко, столь глубоко, что никакой жар не может потом расплавить его отпечатка, и ничто не может стереть его, пока мы живем на земле.

Итак, молодая кровь во мне взыграла, и я собирался вернуть эти поцелуи с процентами и уже приступил было к делу, как вдруг услышал грубый голос, изрыгавший непонятные проклятья, и хихиканье женщин, которые с нами прятались в пещере, а теперь на минуту забыли о своих несчастьях, как часто бывает с представителями их пола, когда дело доходит до поцелуев.

– Черт побери! – произнес грубый голос. – Кто это лапает там мою дочь, как будто они час как обвенчались? А ну, убери свои губы, парень, не то я отсеку их от твоей физиономии!

Измученный, я оглянулся и увидел сэра Роберта Эйлиса, восседающего на сером коне, в сопровождении отряда вооруженных людей, которыми, по-видимому, командовал самоуверенный молодой капитан с темными глазами и длинными волосами и в самом диковинном одеянии, какого я никогда не видел. Набрось он на свои латы одеяние Иосифа, то и тогда бы не получилось такой яркости красок; и я заметил также, что носки его туфель так сильно загнуты кверху, что я невольно подивился, как он мог попасть в стремена, и что было бы с ним, если бы его выбили из седла.

Растерявшись, я не ответил, но Уильям Булл, хотя и грубоватый малый, был находчив и не лез за словом в карман.

– Если хотите знать, – сказал он по-сассекски растягивая слова, – я скажу вам, кто этот человек, сэр Роберт Эйлис. Это мой достойнейший хозяин, Хьюберт из Гастингса, владелец судов, дома и торгового дела в этом городе. Или был им, по крайней мере, так как его суда и дом, кажется, сторели, как и его мать. А что касается торговли, то пройдет немало дней, прежде чем она снова появится в Гастингсе.

– Возможно, – сказал сэр Роберт, добавив несколько ругательств, – но почему он целует мою дочь?

– Может быть, потому, что он хочет отдать лучшее, что у него есть, – таков закон среди честных купцов, благородный сэр Роберт. Или потому, что он больше, чем любой другой из людей, имеет право целовать ее: если бы не он, она была бы сейчас зловонным трупом или бросовой вещью для француза.

Здесь нарядный молодой капитан прервал его, говоря:

– Что бы ни потерял этот достойный торговец, в трубаче он не нуждается.

– Совершенно верно, милорд Делеруа, – ответил Уильям, ничуть не смутившись, – ибо когда я нахожу хорошую песню, мне нравится ее петь. Взгляните-ка вон на тех трех человек,

что лежат на склоне, и вы увидите, что на сразивших их стрелах метка моего хозяина. А потом ступайте на Замковый холм и найдите там рыцаря, у которого голова почти отсечена от плеч, и проверьте, не этим ли вот мечом это сделано. И на других тоже посмотрите – они были все убиты для того, чтобы спасти эту прекрасную леди. Ступайте и поглядите – вы, в вашей нарядной, незапятнанной одежде, а потом возвращайтесь и болтайте о трубачах.

– Вот еще! – произнес лорд Делеруа, пожав плечами. – Просто леди слишком потрясена и ухватила за какого-то простолюдина, как женщина, которая целует ноги деревянной статуи святого, воображая, что тот спас ее от беды.

Слушая все это как во сне, при последних словах я как бы очнулся, ибо сказанное уязвило меня. Кроме того, я слышал, что этот роскошный Делеруа был из тех, кто получил свой пост и чин милостью короля, так же как и свое имя, будучи, как говорили, незаконным сыном одного князя, родственника сэра Роберта, которого он поэтому называл кузеном.

– Сэр, – сказал я, – вам лучше знать, кто из нас имеет больше оснований называться простолудином. Оставим это. По крайней мере, я держу в руках меч, принадлежавший предку моих предков сотни лет назад, некоему Торгриммеру, который в свое время был великим человеком. Сегодня я уже достаточно сражался, а вы – несомненно, не по своей вине, – совсем не участвовали в битве. Будьте же любезны сойти с этого коня и сразиться со мной, хотя я и устал, и доказать мое простолудинство на моем теле. Сделайте это в вашей знатности, ибо в конце концов мы все из одной плоти. Уязвленный в свою очередь, он сделал движение, как бы намереваясь выполнить мое требование, но в этот момент, взглянув на своего отца, который, не двигаясь, сидел на коне, видимо, озадаченный, леди Бланш впервые подала голос.

– Не сходите с ума, кузен, – сказала она. – Говорю вам, этот джентльмен сегодня дважды спас мою жизнь и честь. Неужели после этого удивительно, что я отблагодарила его наилучшим образом, каким может женщина, и этим навлекла на него ваши оскорбления?

Он колебался, хотя один из его загнутых вверх носков уже освободился от стремени, как вдруг сэр Роберт заговорил своим мощным голосом:

– Святая правда, кузен, вы поступите лучше всего, если оставите этого молодого петушка в покое, мне не нравится вид его красной шпоры, – и он взглянул на мой меч Взвейся-Пламя. – Хотя он, возможно, и устал, в нем наверняка сохранились кое-какие силенки.

Потом он повернулся ко мне и добавил:

– Сэр, вы отлично дрались; многие получали рыцарское звание за меньшее, и если красивая девушка отблагодарила вас на свой лад, вы в этом не виноваты. Я, ее отец, тоже благодарю вас и желаю вам всяческих удач до той поры, когда мы снова встретимся. Прощайте. Дочка, садись на мою лошадь вместе со мной – и в путь, в замок Левенси, куда, может статься, этим французам завтра захочется нанести визит.

Спустя минуту их уже и след простыл, и я заметил не без боли, как, помахав мне на прощанье, леди Бланш быстро заговорила с кузеном Делеруа, и как он взял ее за руку, поддерживая ее на коне ее отца.

## ГЛАВА III. ХЬЮБЕРТ ПРИЕЗЖАЕТ В ЛОНДОН

Когда леди Бланш исчезла из виду, а следом за ней и женщины, прятавшиеся в пещере, Уильям и я отправились к известному нам ручью, протекавшему неподалеку, и утолили мучившую нас жажду. Потом мы пошли к тем троицам, кого я убил из моего большого лука, надеясь вернуть мои последние стрелы. Однако это оказалось невозможным: одна из стрел – третья – была сломана, а две другие так глубоко впились в плоть и кость, что высвободить их могла только пила хирурга.

Поэтому мы оставили все как есть; и пока убитых не зарыли, многие приходили подивиться на это зрелище, считая почти чудом, что я убил этих троих тремя стрелами, и что лук, согнутый человеческой рукой, мог выпустить последнюю из стрел с такой силой, что она пробила железный щит и нагрудник.

Должен заметить, что эти доспехи Уильям взял себе, поскольку они были ему по росту. Я тоже, вернувшись на следующее утро на Замковый холм, снял с рыцаря, убитого мечом Взвейся-Пламя, его великолепную миланскую кольчугу, нагрудник которой был выложен золотом, и которая прикрывалась как бы короткой мантией из сетки, защищавшей швы; именно через такой шов меч врезался в плечо рыцаря. По странной случайности герб, или эмблема, на щите рыцаря представлял собой изображение трех зазубренных стрел, но имени рыцаря я так никогда и не узнал. Эти доспехи, которые, должно быть, стоили большой суммы денег, бейлиф отдал мне в дар, поскольку я убил их владельца и хорошо показал себя в битве. Более того, я сделал эти три стрелы своей эмблемой, хотя, по правде сказать, не имел права ни на какой герб, будучи в те дни только торговцем. (Если бы я знал тогда, какую службу мне сослужат эти доспехи в последующие годы!)

Приближалась ночь, и так как от устья пещеры нам было видно, что та часть Гастингса, которая расположена в направлении деревни Сент-Ленардс, по-видимому, уцелела от пожара, туда мы и направились, выбрав путь вдоль берега, подальше от жара и падающих обломков горящего города. По пути мы встречали других жителей и от них узнали о том, что произошло. Похоже было, что французы потеряли убитыми больше, чем мы, поскольку многие из них оказались отрезанными на берегу, когда их корабли снялись с якоря, а последние не все смогли отойти от берега или были частично потоплены вместе с находившимися на борту людьми подоспевшими английскими судами. Но ущерб, нанесенный Гастингсу, был столь велик, что едва ли одно поколение могло справиться с его последствиями, ибо большая часть города сгорела дотла или все еще была охвачена пожаром. Многие, как моя мать, погибли в пламени – больные, старики, роженицы, а также те, кто по той или иной причине были забыты или неспособны покинуть помещения. Сотни людей собрались на берегу, охваченные отчаянием, и не только женщины и дети плакали в этот вечер.

Что до меня, то мы с Уильямом миновали пожарище и пришли в дом к одному старому священнику, который был моим духовником, а до меня исповедовал моего отца; и там мы нашли стол и кров, а он вознес благодарственную молитву Богу за мое спасение и постарался утешить меня, потерявшего мать и лишившегося всего имущества.

В ту ночь я почти не спал, как не могут спать те, кто утомлен сверх меры. К тому же это было мое боевое крещение, и я вновь и вновь видел в воображении, как падают эти люди от моего меча и стрел, я гордился тем, что убил их, этих жестоких грабителей, и радовался тому, что с мальчишества учился владеть мечом и луком, так что мог сразиться с кем угодно и, пожалуй, стал самым метким стрелком в Гастингсе и завоевал серебряную стрелу на последнем состязании, один среди лучников всех возрастов. Однако картины смерти убитых мною захватчиков преследовали меня, и я представлял себе, как легко их участь могла быть моей, если бы они опередили меня, нанеся удар мечом или выпустив стрелу первыми.

– Где они теперь? – думал я. – В раю или в аду, о которых рассказывают священники? Признаются ли они в своих грехах какому-нибудь ангелу, в то время как тот со строгим замкнутым лицом проверяет их по своей книге, напоминая им о многих прегрешениях, о которых они забыли? Или они крепко спят вечным сном, как один тонкий мыслитель, которого я знал, говорил мне по секрету, признаваясь в своем убеждении, что такова судьба каждого из нас, что бы ни говорили нам и во что бы ни верили священники? И где сейчас моя мать, которую я так любил и которая любила меня, хотя внешне и была суровой женщиной, – моя мать, которая на моих глазах сгорела заживо и пела, охваченная пламенем? О, как порочен и мерзок этот мир, и как странно, что Бог заставляет мужчин и женщин появляться на свет для того, чтобы прийти к такому жестокому концу. Однако кто мы такие, чтобы сомневаться в Его установлениях, о которых мы не знаем ни начала, ни конца?

Во всяком случае я радовался тому, что я жив, ибо теперь, когда все позади, меня мучили страх и дрожь, чего я совершенно не испытывал во время битвы, даже когда казалось, что настал мой последний час.

И наконец, эта знатная леди, Бланш Эйлис, с которой так странно свела меня в тот день судьба. Ее голубые глаза пронзили мое сердце, как стрелы, и никакими усилиями я не мог вытеснить из головы мысли о ней и звук ее мягкого голоса из моего слуха, а ее поцелуи, казалось, все еще горели у меня на губах. Меня мучила мысль о том, что, быть может, я никогда больше ее не увижу, а если увижу, то не смогу говорить с ней, – ведь я был настолько ниже, чем она, по своему положению и уже успел навлечь на себя гнев ее отца и (как я догадывался) возбудить ревность ее надушенного кузена, которого, говорили, король любил, как родного брата.

Что велела мне моя мать? Покинуть эти места и уехать в Лондон, найти там моего дядю Джона Триммера, купца и золотых дел мастера, который был моим крестным отцом, и попросить его взять меня в свое дело. Я помнил моего дядю, потому что лет семь или восемь тому назад, когда я был еще подростком, он навестил нас в Гастингсе в то время, когда Лондон постигла чума. Однако он прожил у нас всего неделю; по его словам, морской воздух плохо действовал на его желудок, и лучше рискнуть заболеть чумой, имея здоровый желудок, чем избежать ее, но с больным желудком. Правда, по-моему, он думал о своем деле, а вовсе не о желудке.

Станный он был старик, чем-то похожий на мою мать, но только нос у него был более горбатый, глаза маленькие, а лысая голова прикрыта бархатной шапочкой. Даже в летнюю жару ему всегда было холодно, и он носил старую, облезшую по краям шубу (меховую накидку), громко жалуясь на сквозняки. Он даже ходил на старого еврея, хотя и был добрым христианином, и посмеивался про себя, поскольку, по его словам, это было выгодно для его торговли – евреев всегда боялись и считали, что обмануть и переспорить их просто невозможно.

В остальном я помню только, что он проэкзаменовал меня насчет моей учености и остался недоволен, и что он обошел наши владения, оценивая наши товары и показывая матери, как нас обманывают и как мы могли бы получать больше денег, чем мы имеем. Уезжая, он подарил мне золотой слиток и сказал, что жизнь – не более чем суeta суeta, и что я должен молиться за упокой его души, когда он умрет, так как он уверен, что она будет нуждаться в такой помощи; а также, что я должен употребить этот слиток золота с выгодой для себя. Это я и сделал – купил огромного свирепого дога, привезенного на корабле из Норвегии, которого я страстно хотел приобрести; этот дог укусил одного большого человека в нашем городе, и тот потащил мать в суд к бейлифу и добился уничтожения бедного зверя, к моей великой ярости.

Перебирая все это в памяти, я подумал, что в сущности мне ведь нравился дядя Джон, хотя он и отличался от всех окружающих. Почему бы мне не поехать к нему? Потому что я, любя море и свежий воздух, не хотел сидеть в лондонской лавке, а также из страха, что он может спросить меня, что я сделал с тем слитком золота, и поднять меня на смех из-за собаки. Однако мать велела мне ехать, и это было ее последнее приказание, предсмертное слово, ослу-

шание которого могло бы привести к несчастью. К тому же наши корабли и дом сгорели, и мне придется долго и упорно трудиться, прежде чем я смогу восстановить утраченное. И наконец, в Лондоне я не буду видеть леди Бланш Эйлис и постепенно забуду огоньки в ее голубых глазах. Поэтому я решил, что уеду, и, наконец, заснул.

На следующее утро я исповедовался старому священнику, прося его среди прочих вещей снять с меня грех пролитой крови, на что он, будучи в душе убежденным англичанином, ответил, что этот поступок не нуждается в прощении ни Бога, ни человека. Я посоветовался с ним о том, что мне следует делать, и он сказал, что мой долг – повиноваться желаниям моей матери, поскольку предсмертные слова такого рода часто бывают внушены свыше и выражают волю неба. Далее он подчеркнул, что не мешало бы мне избегать леди Бланш Эйлис, которая намного выше меня по положению, и поэтому попытки видаться с ней могли бы кончиться для меня бедой и даже смертью. И кроме всего прочего, сказал он, я мог бы вернуть себе утраченное состояние с помощью моего дяди, по слухам – очень богатого человека, которому он напишет обо мне письмо.

Таким образом, вопрос был решен.

Однако прошло несколько дней, прежде чем я смог покинуть Гастингс: нужно было дожидаться, пока остынет пепел на месте нашего дома, чтобы найти останки моей матери. Те, кто наконец нашли ее тело, говорили, что она обгорела гораздо меньше, чем можно было ожидать, но об этом я не могу судить, так как я не мог заставить себя взглянуть на нее, – ведь она хотела, чтобы я помнил ее такой, какой она была при жизни. Ее похоронили рядом с утонувшим отцом, на кладбище церкви Св. Клементя, и когда все удалились, я немного поплакал на ее могиле.

Оставшаяся часть дня прошла в приготовлениях к путешествию. Оказалось, что часть хозяйственных построек в дальнем конце двора уцелела от пожара, и в стойлах я обнаружил двух живых лошадей – серого жеребца для верховой езды и кобылу, которая возила на берег сети и снасти, а с берега – улов рыбы. Обе лошади, хотя и напуганные и одичавшие, были целы и невредимы. Я обнаружил также некоторые запасы – сетей, вяленой рыбы в бочках и еще каких-то вещей, в которых я не стал разбираться. Лошадей я оставил себе, а все остальное, включая и территорию, на которой стоял дом и хозяйственные постройки, передал Уильяму, а тот обещал выплатить мне стоимость всего этого, когда настанут лучшие времена и он сможет зарабатывать достаточно денег.

На следующее утро я выехал в Лондон на моем сером жеребце, погрузив доспехи убитого мною рыцаря и кое-какое оставшееся имущество на кобылу, которую я вел на веревке. Никто не пришел проститься со мной, кроме Уильяма, ибо отчаяние гастингцев было столь глубоко, что все были поглощены собственными переживаниями или оплакивали своих мертвецов. Я не жалел, что так получилось, поскольку мне было так тяжело покидать места, где я родился и жил всю жизнь, что я бы, наверно, разразился слезами, если бы кто-нибудь из моих бывших друзей обратился ко мне с добрым словом, – а мужчине не подобает плакать. Никогда еще я не чувствовал себя столь одиноким, как в ту минуту, когда, въехав на холм, я оглянулся на руины Гастингса, над которыми еще висела тонкая пелена дыма. Мужество, казалось, совсем меня покинуло; со страхом смотрел я в будущее, думая, что я рожден неудачником, что мне нечего ждать от жизни, и что, наверно, я кончу свои дни простым солдатом или рыболовом, а может быть, в тюрьме или на виселице. Я страдал от таких приступов мрачности с детства, но никогда еще мое отчаяние не было столь безнадежным и глубоким.

Наконец возшло и засияло солнце, и мое настроение изменилось. Я вспомнил, что я не только вышел живым из боя, но и невредим, молод и здоров, что у меня есть меч, лук и доспехи, да в придачу еще сколько-то золотых монет в мешочке, который мне дала матушка, вручая меч Взейся-Пламя. Во мне вспыхнула надежда, что мой дядя примет меня как родного; а если

нет, то найдется немало рыцарей, которые будут рады иметь оруженосца, умеющего стрелять не хуже любого лучника и владеющего мечом наравне с лучшими воинами.

Итак, вознеся бесхитростную молитву Св. Хьюберту, я взбодрил своего коня и, воспрянув духом, добрался до конца длинного подъема и очутился почти лицом к лицу с веселой кавалькадой, которая, судя по тому, что всадники держали на запястьях соколов, а за лошадьми бежали собаки, направлялась охотиться на болотах Левенси. Еще на расстоянии я узнал их – это были сэр Роберт Эйлис, его дочь Бланш и фаворит короля, молодой лорд Делеруа, в сопровождении слуг. Я хотел было уклониться в сторону, но, вспомнив, что имею такое же право, как они, ездить по дорогам короля, и призвав на помощь свою гордость, решил проехать мимо, не обращая на них внимания, разве что они заметили бы меня сами. Но они тоже узнали меня, ибо, имея острый слух, я уловил восклицание сэра Роберта: «Опять этот молодой рыбак! Проезжай мимо, дочка, не говори ни слова!»; услышал также пренебрежительное замечание лорда Делеруа: «Кажется, он обобрал убитых и теперь, как хороший коробейник, везет их доспехи для тайной распродажи».

Однако леди Бланш не ответила ни тому, ни другому, а смотрела прямо перед собой, делая вид, что разговаривает с соколом, сидевшим у нее на руке. Теперь, когда она пришла в себя и была спокойна, она показалась мне еще прекраснее, чем тогда, в отблесках пожара.

Так мы встретились и разъехались снова; я равнодушно взглянул на них, объезжая их по обочине дороги. Когда нас разделяло уже ярдов десять, я вдруг услышал возглас леди Бланш: – О, мой сокол!

Я оглянулся и увидел, что ее сокол каким-то образом оказался на земле, и так как голова его была накрыта колпачком, он бился, хлопая крыльями, между копытами лошадей, в то время как одна из собак пыталась схватить и растерзать его. Поднялась суматоха, и в то время как все взоры устремились на сокола и собаку, леди Бланш с невозмутимым спокойствием обернулась, подняла руку, как бы стараясь понять, каким образом сокол мог упасть с нее, и быстрым движением, приложив пальцы к губам, послала мне воздушный поцелуй.

Я ответил таким же быстрым поклоном и продолжал свой путь; сердце мое сильно билось. Несколько мгновений меня переполняла радость, так как я не мог сомневаться в значении этого поцелуя. Но затем, подобно апрельской туче, налетела печаль; моя рана, которая была близка к заживлению, вновь открылась. Я уже начал забывать леди Бланш, или, скорее, усилием воли изгонять ее из головы, как велел мой исповедник. Но теперь на крыльях этого воздушного поцелуя она снова проникла в мои мысли и поселилась там на много дней.

Ночь я провел в Торнбридже, в уютном и спокойном трактире, где хозяин долго взирал на золотую монету, которую я вынул из мешочка, расплачиваясь за ночлег, и ни за что не хотел принять ее, потому что на ней была изображена голова какого-то древнего короля. Наконец один купец из Торнбриджа, зашедший в трактир, чтобы выпить свою утреннюю кружку эля, убедил его, что это настоящие деньги, так что все благополучно уладилось.

Около двух часов я достиг Саутварка – города, который показался мне столь же большим, каким был Гастингс до его разрушения. В Саутварке был прекрасный трактир под названием «Табард», в котором я и остановился, чтобы накормить лошадей и подкрепиться пищей и кружкой эля. Потом я отправился дальше и переехал через великую реку Темзу, по которой сновало множество кораблей и лодок. Я пересек ее по Лондонскому мосту, сооружению столь удивительному, что трудно было представить себе, как рука человека могла создать его, и такому широкому, что по обе стороны проезжей части умещались лавки, полные самых разнообразных товаров. Расспросив, как мне попасть в Чипсайд, я наконец добрался туда, прокладывая путь сквозь несметную толпу людей, – по крайней мере, так мне казалось, ибо я еще никогда не видал такого скопища мужчин и женщин, устремляющихся каждый в свою сторону и как будто не замечающих друг друга.

Я выехал на длинную и многолюдную улицу, по обе стороны которой теснились дома под островерхими крышами, демонстрируя всевозможные товары и ремесла. По ней я и потрусил, то и дело навлекая на себя проклятия, потому что моя выучная кобыла, которую я вел на веревке, испуганно шарахалась из стороны в сторону и преграждала путь телегам, вынуждая их останавливаться и ждать, пока я распутаю веревку и приберу мою лошадь к рукам. После третьей такой заминки я отъехал к краю пешеходной дорожки, остановился позади повозки с бочками и огляделся, вконец ошеломленный.

Налево был дом, немного отстоявший от общей линии домов, и перед ним небольшой садик, в котором рос неухоженный и чахлый на вид кустарник. Очевидно, это был не просто жилой дом, потому что на железном пруте, укрепленном на фасаде, виднелась странная фигура – изображение лодки с приподнятыми кормой и носом и высоким бикхедом в форме головы дракона.

В то время как я разглядывал эту своеобразную вывеску, празднично размышляя о том, что это за судно и какой народ выходил на нем в море, на садовой дорожке показался человек, подошел к калитке и, облокотясь на нее, в свою очередь уставился на меня. Он был стар и выглядел как-то странно, в выцветшем и порывшемся плаще с капюшоном, надвинутым на голову так, что были видны только острая белая борода и пара блестящих черных глаз, которые, казалось, пронзали меня, как шило сапожника пронзает кожу.

– Что это вы, молодой человек, – сказал он высоким тонким голосом, – загородили мои ворота своими клячами? Или вы желаете продать эти доспехи? Если так, то я не интересуюсь такими вещами, хотя, кажется, ваш товар и неплохого качества. Так что ступайте куда-нибудь в другое место.

– Нет, сэра, – ответил я, – мне нечего продавать, я только ищу в этом улье торговцев одну пчелу и не могу ее найти.

– В улье торговцев! Поистине, богатые купцы Чипсайда были бы польщены. Так они уже успели ужалить тебя, молодого деревенского простофилю, каков ты есть, коли я не ошибаюсь? Но какую пчелу ты ищешь? Постой, я, кажется, догадываюсь. Уж не старого ли мошенника по имени Джон Гриммер, что торгует золотом, бриллиантами и другими драгоценностями и которому, если воздать по заслугам, самое место в тюрьме?

– Да, да, именно его, – сказал я.

– Он тоже будет наверняка польщен, – воскликнул старик, посмеиваясь. – Это мой друг, и я расскажу ему про твою шутку.

– Лучше бы сказали, где мне его найти.

– Все в свое время. Но сперва, мой юный сэра, откуда у вас эти прекрасные доспехи? Если вы их украли, вам следовало бы спрятать их получше.

– Я – украд? – начал я гневно. – Что я, лондонский коробейник?..

– Думаю, что нет, во всяком случае – пока, но кто из нас знает, какие злые шутки может сыграть с нами Фортуна? Ну ладно, если вы их не украли, то, может быть, вы прикончили того, кто их носил, и тогда вы – убийца; вон я вижу на стали черные пятна от крови.

– Убийца! – воскликнул я, едва не задохнувшись.

– Ага, такой же убийца, как Джон Гриммер – мошенник. Но если нет, то, возможно, вы сняли их с французского рыцаря, которого вы убили на Гастингском холме, прежде чем выпустить три стрелы у пещеры в Миннес-Рок.

Тут я уставился на него в изумлении.

– Закройте рот, молодой человек, а то у вас выпадут зубы. Удивляетесь, откуда я знаю? Ну так вот, мой друг Джон Гриммер, этот ювелир-мошенник, имеет магический кристалл, который он купил у одного человека, приехавшего с Востока. В этом кристалле я все и увидел.

Говоря так, он как бы случайно откинул капюшон, закрывавший его голову, и я увидел старческое морщинистое лицо и насмешливый рот с одним слегка опущенным уголком, – рот, который я сразу узнал, хотя с той поры, когда я был мальчишкой, прошло много лет.

– Вы – Джон Гриммер! – пробормотал я.

– Да, Хьюберт из Гастингса, я и есть этот мошенник! А теперь скажи мне, что ты сделал с тем золотым слитком, который я дал тебе лет двенадцать тому назад?

Я хотел было солгать, так как этот старик внушал мне какое-то чувство страха. Но, удивившись, я признался, что потратил его на собаку. Он искренне рассмеялся и сказал:

– Молись, чтоб не отправиться вслед за этим слитком к чертям собачьим! Ну что ж, мне нравится, что ты говоришь правду, несмотря на соблазн лжи. Ты не погнушаешься найти на время пристанище под крышей купца-мошенника Джона Триммера?

– Вы смеетесь надо мной, сэр, – произнес я, заикаясь.

– Возможно, возможно! Но ведь в каждой шутке есть доля правды; если ты еще не знаешь, то впоследствии узнаешь, что все мы, каждый по-своему, мошенники, и если не обманываешь других, то обманываешь себя, и я, пожалуй, больше, чем остальные. Суета сует! Все на свете – суета.

Не ожидая ответа, он вынул из-под своего старого плаща серебряный свисток и приложил его к губам, и на его звук – столь быстро, что я невольно подумал, уж не ждал ли он поблизости, – явился коренастый слуга, которому старик сказал:

– Отведи этих лошадей в стойло и обиходи их, как моих собственных. Разгрузи это выючное животное, почисти доспехи и отнеси их вместе с остальной кладью в ту комнату, что приготовлена для этого молодого господина, Хьюберта из Гастингса, моего племянника.

Не сказав ни слова, слуга увел лошадей прочь.

– Не бойся, – сказал, посмеиваясь, Джон Триммер, – хоть я и мошенник, собака не съест собаку, и никто – ни я, ни те, кто мне служат, – не возьмет ни одной из твоих вещей. А теперь – входи, – и он ввел меня в дом, открыв ключом, который вынул из кармана, дубовую дверь, украшенную железными шишечками.

Мы оказались в лавке, где я увидел много драгоценных вещей, таких, как меха и золотые украшения.

– Крошки для приманки птиц, особенно пташек-милашек<sup>5</sup>, – сказал он, указав на разложенные вокруг сокровища; потом провел меня через лавку в коридор, а оттуда – в комнату направо. Комната была небольшая, но такой обстановки я никогда в жизни не видел. В центре стоял стол черного дуба с изощренными резными ножками; на столе были расставлены серебряные чашки, а посередине – видимо, золотая ваза благородной формы. С потолка свисали серебряные светильники, уже зажженные (ибо уже смеркалось) и распространяющие сладостный аромат. В комнате был также очаг с дымоходом – что было большой редкостью, – и в нем горел маленький костер из дров; стены были увешаны гобеленами и расшитыми шелками.

Пока я с увлечением и удивлением оглядывался вокруг, дядя сбросил свой плащ, под которым оказался богатый, но довольно поношенный костюм; голову дяди покрывала бархатная шапочка. Он велел мне тоже снять плащ, и когда я повиновался, оглядел меня с головы до ног.

– Юноша что надо, – бормотал он про себя, – и я отдал бы все, чтобы быть молодым и таким, как он. Эти руки и мускулы, полагаю, у него от отца, ибо я всегда был худым и поджарым, как мой отец. Племянник Хьюберт, я слышал всю историю о том, как ты в Гастингсе расправился с французами, да падет на них божья кара; и могу прямо тебе сказать, что горжусь тобой: не знаю, как в будущем, но сейчас горжусь. Подойди ко мне.

---

<sup>5</sup> Непереводимая игра слов Birds и Zadybirds; Birds – птица, Zadybirds – леди-птица, устар. поэтич. «любимая», «возлюбленная» (прим. пер.).

Я приблизился, и он, взяв меня тонкой рукой за вьющиеся волосы, притянул к себе мою голову и поцеловал меня в лоб, бормоча: «Ни сына у меня, ни дочери – один только этот потомок древней крови. Да будет он ее достоин».

Потом он жестом велел мне сесть и позвонил в серебряный колокольчик, который взял со стола. Как и давеча со слугой, ответ последовал немедленно, из чего я заключил, что у Джона Триммера хорошие слуги. Не успело замереть эхо колокольчика, как отворилась скрытая за гобеленом дверь, и появились две молодые служанки, обе красивые, высокие и стройные, которые принесли ужин.

– Красивые женщины, племянник, неудивительно, что ты на них засмотрелся, – сказал он, когда они ушли, чтобы принести еще другие блюда. – Я люблю, чтобы в старости вокруг меня были такие. Женщины в доме, мужчины во дворе – таков закон природы, и несчастным будет тот день, когда он изменится. Однако остерегайся красивых женщин, племянник, и, пожалуйста, не целуй этих служанок, как ты целовал леди Бланш Эйлис в Гастингсе, не то весь мой уклад перевернется вверх дном, и служанки станут господами.

Я не ответил, смущенный тем, что дядя так много знает обо мне и моих делах; впоследствии я обнаружил, что эти сведения, по крайней мере частично, он получил от старого священника, моего духовника, который написал ему обо мне и моей истории и послал свое письмо с нарочным короля, выехавшим в Лондон на следующее утро после того, как начался пожар.

Но дядя и не ждал от меня ответа, а велел сесть к столу и приступить к ужину, угощая меня разными блюдами с самыми гонкими приправами, которые я не успевал поглощать, и наливая мне такие редкие вина, каких я ни разу до того не пробовал – их он доставал из шкафа, где они хранились в причудливых стеклянных сосудах. Однако сам он, как я заметил, ел очень мало, пощипав от грудинки жареной курицы и отпив лишь половину из маленького серебряного кубка, наполненного вином.

– Appetit, как и все другие хорошие вещи, – это для молодых, – сказал он со вздохом, наблюдая, с каким удовольствием я ем. – Однако помни, племянник, что настанет день – если ты до него доживешь, – когда твой аппетит будет так же мал, как сейчас мой. Суета суета, сказал праведник, все на свете суета!

Наконец, когда я не мог больше съесть ни кусочка, он снова позвонил в серебряный звончок, и те же красивые служанки, одинаково одетые в зеленое, появились и убрали все со стола. Когда они ушли, дядя подсел, сгорбившись, к огню, потирая худые руки, чтобы согреть их, и неожиданно сказал:

– А теперь расскажи о смерти моей сестры, и все остальное, что с тобой было.

И я, насколько мог лучше, рассказал ему все, что произошло, начиная с той минуты, когда я увидел французский флот с борта моей шхуны, и до самого конца.

– Ты не глуп, – сказал он, когда я умолк, – если можешь говорить, как любой образованный человек, и преподносить вещи так, что слушатель будто видит их своими глазами; я заметил, что на это способны весьма немногие. Значит, вот так все это было... Ну что ж, у твоей матери была великая душа, и смерть ее тоже была великой – такой, какая любя нашему северному народу и какой даже я, старый мошенник-купец, желал бы умереть, но не умру, ибо мне суждено умереть, подобно корове, на соломе. Молись Всеобщему отцу Одину – нет, это ересь, за которую меня сожгли бы на костре, если бы ты или мои девушки рассказали об этом священникам, – я хочу сказать, молись Богу, чтобы он даровал тебе лучший конец, такой, какой он даровал Торгриммеру, если это правда, – Торгриммеру, чей меч ты носишь и уже применил так умело, – об этом знает тот рыцарь-француз, который сейчас в аду.

– Кто был Один? – спросил я.

– Великий Бог скандинавов. Разве твоя матушка не рассказывала тебе о нем? Да нет, она была слишком хорошей христианкой. И все же, племянник, – он жив! Я хочу сказать, что Один живет в крови каждого воина, так же как Фрейя живет в сердце каждого юноши и каждой

девушки, которые любят. Боги сменяют свои имена, но – молчок! Молчок! Не болтай об Одине и Фрейе, я ведь сказал, что это – ересь или язычество, что еще хуже. Что ты собираешься делать? Почему приехал в Лондон?

– Потому что так велела матушка. И чтобы попытать счастья.

– Счастье, – что есть счастье? Молодость и здоровье – вот это счастье. Хотя если знать, как пользоваться богатством, то многие, кто его имеет, могут пойти дальше других. Красивые вещи тоже приятны для глаз, и собирать их большая радость. И, однако, в конечном счете все это не имеет значения, ибо нагими вышли мы из тьмы и нагими туда вернемся. Суета сует, все на свете – суета!



## ГЛАВА IV. КАРИ

Так началась моя жизнь в Лондоне, в доме моего дяди Джона Триммера, прозванного Золотых-Дел-Мастером. В действительности, однако, его деятельность была намного значительнее. Он давал деньги взаймы под проценты большим людям, которые в них нуждались, и даже королю Ричарду и его двору. Он имел корабли и вел оживленную торговлю с Голландией, Францией, – да, и с Францией, а также с Испанией и Италией. Хотя внешне он и выглядел весьма скромно, его богатство было велико и постоянно росло, как снежный ком, катящийся с горы. Более того, он владел большими участками земли, особенно близ Лондона, где было больше вероятности, что она повысится в цене.

– Деньги тают, – говорил он. – Меха портятся от моли и времени, богатство растаскивают воры. Но земля – если на нее имеешь право – остается. Поэтому покупай землю, ее никто не унесет; лучше всего близ торгового или растущего города; а потом сдавай ее в аренду дуракам, которые любят копаться в ней, или же продавай ее другим дуракам, которые желают строить огромные дома и тратят свои богатства, кормя множество бездельников-слуг. Дома требуют пищи, Хьюберт, и чем они больше, тем больше они съедают.

О том, чтобы я поселился у него, он не сказал ни слова, тем не менее здесь я и остался, как бы с обоюдного согласия. На следующее утро явился портной, чтобы снять с меня мерку и сшить мне одежду, какая, по мнению дяди, приличествовала моему положению; и поскольку с меня не потребовали платы, об этом, очевидно, позаботился сам дядя. Он также предложил, чтобы я обставил мою комнату по своему вкусу, так же, как и вторую комнату в глубине дома, которая была намного больше, чем казалась, и, по его словам, предназначалась мне для работы, хотя о том, какую именно работу мне предстояло в ней выполнять, не было сказано ни слова.

Несколько дней я бездельничал, бродя по Лондону с широко открытыми глазами и встречаясь с дядей только за едой, иногда наедине, а иногда в компании морских капитанов и ученых людей или же других купцов. Все они относились к нему с большим почтением и, как я скоро понял, фактически служили ему. Вечерами, однако, мы всегда были одни, и тогда он изливал на меня свою мудрость, в то время как я внимал ему, не говоря почти ни слова. На шестой день, устав от безделья, я осмелился спросить у него, не найдется ли для меня какой-нибудь работы.

– Еще бы не найтись, если ты расположен поработать, – ответил он. – Вот, садись сюда, возьми перо и бумагу и пиши, что я тебе скажу.

Затем он продиктовал мне короткое письмо насчет доставки вина из Испании и, посыпав лист песком, внимательно прочел написанное.

– Все правильно, – сказал он, явно довольный, – и почерк у тебя четкий, хотя немного детский. Видно, тебя неплохо учили в Гастингсе – не только тому, как обращаться с канатами и стрелами? Работа? Да тут уйма работы, особенно частного характера: я не могу ее дать первому попавшемуся писцу, который мог бы выдать мои секреты. Ибо знай, – добавил он суровым тоном, – что одного я не прощаю никогда, и это – предательство. Об этом помни, племянник Хьюберт, даже в объятиях твоих любимых или даже во хмелю.

Говоря так, он подошел к железному шкафчику, отпер его и, достав оттуда пергаментный свиток, велел мне отнести его в мою рабочую комнату и переписать с него копию. Я засел за работу и обнаружил, что это перечень всех его товаров и владений, и – о, каким длинным был этот список! Прежде чем я дошел до конца, я чуть ли не пожалел, что мой дядя так богат. Весь этот долгий день я трудился, оторвавшись лишь в полдень, чтобы перекусить, пока наконец у меня не заболели пальцы и не пошла кругом голова. И, однако, я испытал чувство гордости, догадываясь, что дядя поручил мне эту работу по двум причинам: во-первых, чтобы выказать мне свое доверие, и, во-вторых, чтобы познакомить меня с состоянием своих дел, но не про-

сто со стороны, а как бы в виде рабочего поручения. К вечеру я закончил и сверил копию с оригиналом, спрятав и то, и другое в своей одежде, когда девушка в зеленом платье позвала меня ужинать.

За столом дядя спросил меня, что я сегодня видел, и я ответил – ничего, только цифры и неразборчивые надписи, и передал ему оба свитка, которые он сверил пункт за пунктом.

– Я доволен тобой, – сказал он наконец, – так как нашел одну-единственную ошибку, да и та не твоя, а моя. Кроме того, ты сделал двухдневную работу за один день. И все же не годится тому, кто привык работать на открытом воздухе, все время корпеть над актами и описями. Поэтому завтра я дам тебе другое поручение, тем более что и лошадь твоя застоялась.

Так оно и было, и на следующее утро он послал меня из Лондона в сопровождении двух слуг осмотреть одно из его владений у берегов Темзы, посетить его арендаторов и потом доложить о состоянии их хозяйства, а также о состоянии определенного леса, где он собирался рубить дуб для постройки корабля. Все это я выполнил с помощью посланных со мною слуг, которые познакомили меня с арендаторами; вечером после возвращения домой я рассказал дяде все, что тот рад был услышать, поскольку он, видимо, не был на этом участке целых пять лет.

В другой раз он послал меня на корабли, которые загружались его товарами, а однажды взял меня на распродажу мехов, прибывших с далекого севера, где, как мне рассказывали, никогда не тает снег, а море всегда сковано льдом.

Он также представил меня купцам, с которыми торговал; своим агентам, которые были весьма многочисленны, хоть и действовали большей частью секретно; и другим ювелирам, которые получали от него займы и в некотором смысле были партнерами, образуя род товарищества, гарантирующего получение больших сумм в случае внезапной нужды. Наконец, его клеркам и подчиненным было дано понять, что если я отдаю приказ, он должен быть выполнен, – хотя это случилось несколько позже, когда я пробыл у дяди уже некоторое время.

Таким образом, через год я знал все нити большого дела Джона Триммера, а на протяжении второго года оно стало все больше переходить в мои руки. Последним, с чем он меня познакомил, были займы, которые он предоставлял сильным мира сего и даже государству. Но наконец я освоился и с этим и узнал ближе некоторых из этих людей, которые наедине с нами были смиренными должниками, но, встречая нас на улице, проходили мимо с кивком, каким высшие удостаивают низших. В таких случаях мой дядя низко кланялся, не отрывая глаз от земли, и велел мне поступать таким же образом. Но когда они были уже далеко и не могли нас услышать, он посмеивался и говорил:

– Рыбки в моих сетях, золотые рыбки! Посмотри, как они сияют, а ведь через минуту будут биться и извиваться на берегу. Суета сует! Все вообще – суета, и Соломон в свое время, конечно, это знал.

Я работал все упорнее и упорнее, ворочая рычагами всех этих больших дел, и, чтобы поддерживать свое здоровье, по возможности урывал время для участия в соревнованиях лучников, где никто не мог меня превзойти, или упражнялся во владении мечом в школе военного искусства, которую содержал мастер этого дела из Италии. По праздникам и по воскресеньям после мессы я выезжал верхом из Лондона осматривать дядины поместья, где иногда и ночевал, а время от времени сопровождал партии его товаров в Голландию или Кале.

Однажды – это было месяцев восемнадцать спустя после моего приезда в Лондон – он вдруг сказал мне:

– Ты пашешь и сеешь, Хьюберт, а урожай не собираешь, довольствуясь тем, что уделяет тебе хозяин. Отныне бери у него сколько хочешь. Я не требую отчета.

Итак, я оказался богачом, хотя, говоря по правде, тратил на себя очень мало, отчасти потому, что вкусы мои были просты, а также потому, что частью дядиной политики было держаться скромно и не выставлять напоказ свое богатство, чтобы, как он говорил, не возбуж-

дать к себе зависти. С этого времени он постепенно стал отходить от дел. Истинная причина, однако, заключалась в том, что возраст брал свое, и он понемногу терял силы. Он предоставил мне самые важные дела, лишь спрашивая о результатах и по временам давая советы. Но, не желая оставаться праздным, он занимался своей лавкой, которую он шутя называл силками для птиц, торгуя мехами и украшениями с таким жаром, как будто от каждой вырученной монеты зависел его хлеб насущный, и руководя изготовлением драгоценностей и прекрасных кубков, образцы которых он, как истинный художник, создавал для своих опытных и высокооплачиваемых работников, среди которых были и иностранцы.

– Мы пришли к тому, с чего начали, – говорил он, бывало. – Мастером был я с детства, мастером и умру. Что за судьба для потомка Торгриммера! И, однако, я, кажется, продаю тебя в такое же рабство. А впрочем, как знать? Как знать? Мы предполагаем, а Бог располагает.

Следует заметить, что когда старики отходят от занятий, заполнявших их жизнь, очень часто они вскоре уходят и из самой жизни. Так случилось и с моим дядей. День ото дня он хирел, пока наконец, с наступлением третьей зимы, что я жил с ним, не слег, все больше слабея, и в час рождения нового года он умер.

До самого конца он сохранил ясность и силу мысли, и никогда ум его не был яснее, чем в ночь его смерти. В тот вечер, поев, я, как обычно, пошел к нему в комнату и застал его за чтением прекрасной рукописной копии с книги мудрости царя Соломона под названием «Экклезиаст», – произведения, которое он предпочитал всем другим, так как высказанные в нем мысли совпадали с его мыслями. «Я собирал серебро и золото, и сокровища, достойные королей, – прочел он вслух то ли для себя, то ли обращаясь ко мне, и продолжал: – и стал я выше и богаче всех, кто был до меня... Потом посмотрел я на творения рук моих и на труды, мною затраченные; и увидел, что все это суета и смущение духа, и что никто ничего не выгадывает в этом мире».

Он закрыл книгу и сказал:

– К этому же придешь и ты, племянник, как приходит всякий в горькие дни старости, – когда ты скажешь: «Я больше не нахожу в них удовольствия». Хьюберт, я уйду в вечную обитель, но я не печалюсь. В молодости я познал горе, ибо – хотя я никогда тебе не рассказывал, – я был женат, и у меня был сын – умный, живой мальчик. Как я любил его и его мать! Чума унесла обоих. Никого у меня не осталось, а по природе я из тех, кто может научиться жить без женщин – чего, боюсь, нельзя сказать о тебе, Хьюберт. И вот, видя, как много в мире страданий и горя, и как те, что зовутся благородными и кого я ненавижу, топчут незнатных и бедных, я занялся добрыми делами. Половину моих доходов я отдавал и отдаю тем, кто помогает бедным и больным; ты найдешь их список, когда я умру, – если, конечно, захочешь продолжать: я тебя ничем не обязываю. Но знай, Хьюберт, – я оставил тебе все, что имею: золото и корабли и все движимое и недвижимое имущество – в полное твое владение, а земли, главное богатство, – пожизненно, а после твоей смерти – твоим детям или, если ты умрешь бездетным, – определенным приютам, где заботятся о больных.

Я хотел поблагодарить его, но он отмахнулся от моих слов и продолжал:

– Ты говорил, что твоя мать предсказала тебе участь скитальца. Странно, но сейчас я подумал то же самое. Мне кажется, я вижу тебя где-то далеко отсюда – в сражении, в любви, в роскоши, – с поднятым Взвейся-Пламя, который когда-то сверкал в руке Торгриммера, нашего родоначальника. Ну что же, иди, куда влечет тебя душа, или куда поведут обстоятельства, хотя тебе и есть ради чего жить дома. Я бы хотел, чтобы ты женился, ведь брак – это якорь, с которого срывается редко какой корабль. Да только я не уверен, – как знать, на ком ты захотел бы жениться; а этот якорь, раз его бросишь, уже не поднять никаким воротом, одна лишь смерть может разрубить его цепь. Еще одно слово, Хьюберт. Хотя ты так молод и силен, помни, что когда-нибудь ты станешь таким же, как сейчас я. Сегодня я, а завтра – ты, сказал один мудрый старик, так всегда было и есть.

Хьюберт, я не знаю, почему мы рождаемся – чтобы бороться и страдать, пока наконец судьба не затянет на нас свою петлю. И все-таки я надеюсь, что священники правы и что есть вторая жизнь, хотя Соломон этого не думал, – то есть, конечно, если мы продолжаем жить там, где нет ни греха, ни скорби, ни страха смерти. Если это правда, то будь уверен, что в каком-то ином мире мы встретимся снова, и там я спрошу у тебя отчета, о том как ты употребил доверенное тебе богатство. Думай иногда обо мне с добрым чувством, ибо я полюбил тебя как родного; ведь пока мы живем в сердцах тех, кого любим, мы воистину не умерли. Подойди сюда, чтобы я мог тебя благословить в твоих делах и поступках, пока ты еще ходишь под солнцем.

И он благословил меня в прекрасных и нежных словах и поцеловал в лоб, после чего попросил оставить его и прислать смотревшую за ним женщину, ибо ему хочется соснуть.

Когда она в полночь взглянула на него – как раз когда колокола возвестили приход нового года – он был уже мертв.

Согласно его желанию, Джона Триммера – последнего, кто носил это имя – похоронили в приделе церкви, которая была в двух шагах от его дома, ибо здесь же покоились останки его всеми забытой жены и ребенка, покинувших этот свет более пятидесяти лет тому назад. Также по его желанию, погребение совершилось без пышности и великолепия, однако на похороны собралось много народу, и среди них кое-кто высокого звания, хотя день был холодный, и шел снег. Кроме того, я заметил, что теперь, когда стало известно, что я – наследник покойного, многие из тех, кто раньше никогда не заговаривал со мной, обращались со мной почтительно, а некоторые, уловив подходящую минуту, отзывали меня в сторону и выражали надежду, что я, в свою очередь, буду поддерживать дружбу, которая издавна существовала между ними и моим дядей.

Позже я нашел их имена в его записной книжке и обнаружил, что те, кто говорил со мной, были все без исключения его должниками.

Когда завещание было утверждено под присягой и я оказался обладателем такой массы денег, земель и других богатств, какая мне даже не снилась, я сначала был склонен отказаться от дел и поселиться в одном из моих поместий, где я мог бы жить в довольстве и изобилии до конца своих дней. Однако я этого не сделал, отчасти потому, что избегал новых лиц и новой обстановки, а отчасти из-за уверенности в том, что это было бы вопреки желанию моего дяди.

Вместо этого я поставил своей целью продолжать и даже повести дальше его игру. Он умер богатым человеком; я решил, что, умирая, буду в пять или шесть раз богаче, если возможно – самым богатым человеком в Англии, и не потому, что я жаждал денег – я тратил на свои нужды очень мало, – а потому, что добывание их и власть, которую они давали, казались мне высшим видом игры. Настроившись на такой лад, я удваивал и утраивал свои усилия в разных направлениях и выигрывал вновь и вновь даже там, где не хватало умения и предусмотрительности, словно сама Фортуна помогала мне с такой странной настойчивостью, что наконец я стал чувствовать суеверный страх перед ее дарами. Я стал также старательно скрывать свои богатства от посторонних глаз, помещая деньги на имя тех, кому я мог доверять, и ведя скромную жизнь в старом доме, чтобы не стать предметом зависти для голодных и добычей для знатных мотов и расточителей.

Это случилось в первое лето после смерти дяди. Я поехал в доки на Темзе, чтобы присутствовать при разгрузке корабля из Венеции, доставившего среди прочих и закупленные мной товары с Востока, такие, как слоновая кость, шелка, пряности, стекло, ковры и многое другое. Закончив свои дела и проследив, чтобы эти сокровища были перенесены на склад, я передал их список соответствующему работнику и оглянувшись, ища мою лошадь.

В этот момент я и увидел, что толпа подростков и других бездельников издевается над человеком, который стоял среди них, закутавшись в плащ, с виду как будто из потрепанной овчины, но на самом деле, очевидно, из чего-то другого, ибо мех на нем имел красноватый оттенок и выглядел длинным и мягким; человек натянул на голову капюшон, так что лица

почти не было видно. Он стоял, высокий и молчаливый, терпеливо, как мученик у столба, в то время как эти мерзкие парни швыряли в него всякие отбросы вроде рыбьих голов и гнилых фруктов, которыми была усеяна набережная, и выкрикивали оскорбительные слова. Одно я уловил: «черномазый».

Подобные сцены были достаточно обычны, но меня привлекло спокойное достоинство жертвы этого издевательства, и я подошел к разнузданной черни и велел им разойтись. Один из них, грубый мужлан, не зная, кто я, оттолкнул меня в сторону, посоветовал не соваться не в свое дело, на что я ответил ему таким ударом между глаз, что он рухнул, как поверженный бык, и остался лежать, ошеломленный. Его товарищи начали было мне угрожать, но я вынул свисток, и тотчас прибежали двое моих слуг, без которых я редко выходил из дому в те смутные времена, и схватились за короткие мечи; при виде их бездельники пустились наутек.

Когда они скрылись, я повернулся и взглянул на незнакомца. Капюшон спал у него с головы, и я увидел, что это человек лет тридцати, со смуглым и благородным лицом, безбородый, но с прямыми черными волосами, с черными сверкающими глазами и орлиным носом. И еще одно бросилось мне в глаза – мочка его уха была проколота, и притом странным образом, так что в проколе могло бы поместиться маленькое яблочко. Он был так худ, что отовсюду торчали кости, как у голодающих, на руках виднелись порезы и царапины, а на лбу темнела большая ссадина. Он был, видимо, совсем сбит с толку, и почти лишился сил, однако понял, как мне показалось, что я дружески расположен к нему, ибо он поклонился мне и трижды поцеловал воздух – но тогда я еще не знал, каков смысл этого жеста.

Я заговорил с ним по-английски, но он мягко покачал головой, показывая, что не понимает меня. Потом, как бы сообразив что-то, он несколько раз похлопал себя по груди, каждый раз повторяя до странности мягким голосом: «Кари». Я решил, что это слово – его имя. По крайней мере, с этой минуты и всегда я звал его «Кари».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.